

Воспоминания террористки. Ирина Каховская

В книге представлено полное собрание найденных на сегодняшний день мемуарных очерков знаменитой революционерки прошлого века.

Ирина Каховская

2020 г.

Оглавление

От публикатора	3
«Всю жизнь отдала она служению людям»	5
Горький 9 января 1905 года	20
Из воспоминаний о женской каторге	25
Дело Эйхгорна	53
Из бюллетеня Центрального комитета партии левых с.-р. интернационалистов	73
Открытое письмо И. К. Каховской председателю революционного трибунала	75
В Деникинской оккупации	77
«Уфимское дело»	107
I	108
II	109
III	111
Дополнение к заявлению Каховской	121
Калужское дело Ирины Каховской	129
«Заключение»	133
После Гулага	136

От публикатора

Примечания в статье помечены жирной цифрой в скобках, например: **(0)**. Чтобы во время чтения не метаться в конец статьи и обратно, вы можете открыть все примечания в отдельной вкладке по этой ссылке (бэкап).

**«Всю жизнь отдала она служению
людям»**

В 1922 г. со страниц одной из последних эсеро-максималистских газет «Вольная трибуна», выходившей во Владивостоке, бывший сиделец Нерчинской каторги, поэт и историк революционного движения, революционер-террорист Иосиф Жук-Жуковский пророчески вещал в статье «Ирина Каховская в большевистской тюрьме»:

«Из каторги и тюрем через германский эшафот и кровавые застенки гетмана Скоропадского, несла она красное знамя Социалистической революции, знамя труда и, сидя теперь в коммунистической тюрьме, — она продолжает служить этому красному знамени. Идя на эшафот со связанными руками и мысленно прощаясь с жизнью, Каховская думала только о революции, только о счастье рабочих и крестьян, которым она служила всю жизнь, и готовилась послужить своей смертью на эшафоте... Но смерть пощадила её, чтобы всю чашу страданий и человеческого горя она выпила до конца».

В отечественном кинематографе драма левоэсеровской партии нашла отражение в выразительном фильме «Шестое июля», снятом режиссером Юлием Карасиком по пьесе Михаила Шатрова. Роль Марии Спиридоновой в кинокартине сыграла замечательная актриса Алла Демидова. В фильме вообще был занят прекрасный состав актёров: Армен Джигарханян, Юрий Каюров, Василий Лановой, Вячеслав Шалевич... Однако роли Ирины Каховской в нём не было. Дело в том, что буквально накануне словесной баталии в стенах Большого театра (где заседал V Всероссийский съезд Советов) и вооруженной схватки между большевиками и левыми эсерами на улицах Москвы она в качестве главы Боевой организации партии выехала в Киев. Зато в недавнем сериале режиссера Владимира Хотиненко по сценарию писателя Леонида Юзефовича «Гибель империи» Каховская предстала перед зрителями в кинообразе героической киевской подпольщицы Ковской, роль которой неплохо сыграла Мария Порошина. Посмотрите эти фильмы — «Шестое июля» и 9-ю серию сериала «Лето в Киеве».

До последнего времени считалось, что Ирина Константиновна Каховская родилась в г. Тараще под Киевом в 1888 г. (Такой же год рождения высечен на её могильной плите.) Лишь недавно, из документов в её студенческом деле в ЦГИА Санкт-Петербурга, обнаруженных историком и журналистом Евгенией Исаевной Фроловой, выяснилось, что в действительности Каховская, согласно свидетельству из Киевской духовной консистории, родилась 15 августа 1887 г. и была крещена в Соборно-Георгиевской церкви в Тараще.

Она принадлежала к потомству чешско-польских шляхтичей, ставших подданными русских царей после присоединения Смоленска в середине XVII века. Вплоть до царствования Екатерины II смоленская шляхта, постепенно переходившая в православие, имела особый статус самоуправляющейся военно-корпоративной касты наподобие Запорожского войска. Из этого же рода, но из другой его ветви, происходил первый русский политический террорист Петр Каховский, один из пяти повешенных декабристов.

Родители Ирины Каховской, по-видимому, не были чужды народнических воззрений. Её отец, окончивший Межевой институт, трудился землемером-таксатором в низшем чине коллежского регистратора, а мать служила народной учительницей. После смерти Константина Осиповича от скоротечной чахотки в 1890 г. Августа Федоровна отдала дочь на воспитание в закрытое заведение — Мариинский институт для сирот благородного происхождения в Петербурге. В нем Ирина Каховская воспи-

тывалась с 28 августа 1897 г. по 25 мая 1903 г. Она окончила это учебное заведение с серебряной медалью.

В сентябре 1903 г. Ирина Каховская стала студенткой (слушательницей историко-филологического отделения) Женского педагогического института (будущего пед-института им. Герцена), и успела проучиться четыре курса, подавая, по оценкам педагогов, в том числе знаменитого историка С. Ф. Платонова, большие надежды. Но доучиться и заняться профессионально исторической наукой ей было не суждено.

Событием, резко повлиявшим на её дальнейшую жизнь, стало Кровавое воскресенье 9 января 1905 года. В тот день Ирина Каховская разуверилась в идеале народной монархии и стала революционеркой. Этому эпизоду был посвящен её мемуарный текст, опубликованный в 1959 г. в журнале «Новый мир» в сопровождении небольшого вступлении жены М. Горького Е. П. Пешковой. Затем последовало увлечение социал-демократией (благодаря знакомству с Александрой Коллонтай), недолгое пребывание Каховской в рядах большевиков, и потом переход в ультралевый Союз эсеров-максималистов.

Союз социалистов-революционеров-максималистов (ССРМ) совершенно напрасно именуется в статье на Википедии «российской политической партией», поскольку максималисты принципиально отвергали сам принцип партийности, что сближало их с анархистами. Летописец Второй русской революции, американский журналист Джон Рид разобрался лучше и в своей книге назвал их «группой крестьянских анархистов». СССРМ откололся от Партии социалистов-революционеров (далее ПСР) во время Первой русской революции, оформившись организационно на учредительной конференции 10–24 октября 1906 г. Программа Союза наряду с социализацией земли (общеэсеровское программное положение) включала требования социализации фабрик и заводов, установления «Трудовой республики». Предполагалось передать землю в коллективное управление сельских общин, а фабрики — в управление трудовых коллективов работников. Социализацию производства максималисты понимали как непосредственный переход фабрик и заводов в управление трудящихся масс. Однако какого-то единого представления о том, как конкретно это следует сделать, у них не было. Одни теоретики максималистов (Г. А. Нестроев) полагали, что предприятия должны взять в руки такие объединения трудящихся, как синдикаты (самоуправляющиеся профсоюзы), другие (Ф. Ю. Светлов) делали упор скорее на коммунальные (муниципальные) органы местного самоуправления, прежде всего — на местные Советы. Основной тактикой максималистов считались террор, в том числе аграрный, и экспроприации.

В августе 1906 г. максималисты взорвали дачу премьер-министра Петра Столыпина (по чистой случайности он остался жив, но были покалечены его дети и погибли сами террористы-смертники), совершили несколько дерзких ограблений-экспроприаций («эксов» на сленге боевиков), самых крупных в истории революционного движения. Но Каховская была здесь ни при чём, поскольку каникулы 1906 г. она провела в разъездах по селам Самарской губернии, ведя пропаганду среди крестьян. В Петербурге её роль была достаточно скромной: она была пропагандисткой в рабочих кружках и по заданию руководства максималистов снабжала оружием одну из боевых дружин, которая готовила новые теракты.

Об этом периоде её жизни сохранились воспоминания одного из главных теоретиков эсеро-максимализма Григория Нестроева:

«Не производит ли она на вас впечатления святой? — спрашивала меня не раз знакомая с.-д. меньшевичка. — Какая вера! Какая преданность! Знаете, у неё очень часто нет денег на поездки за Шлиссельбургскую заставу к рабочим, и она идет чуть ли не 10 вёрст пешком с Петербургской стороны. Только первые христиане так веровали да, пожалуй, первые русские социалисты. Теперь что-то мало таких, которые бы пешком ходили. Посмотрите на её лицо: бледное, спокойное, дышит глубокой верой в торжество социализма...

И эти слова были верны. <...>За её простоту, за её искренность, за её глубокую веру в торжество рабочей революции, которая передавалась ее слушателям, к ней относились с глубоким уважением и ценили её, как лучшего друга. <...>».

Первый раз в своей долгой тюремной жизни она была арестована 28 апреля 1907 г. столичным Охранным отделением. При обыске у неё были изъяты фальшивые паспорта, несколько десятков революционных брошюр и переписка «компрометирующего свойства». Каховская содержалась под стражей в Доме предварительного заключения, дознание проводилось военной прокуратурой. В итоге по приговору Петербургского военно-окружного суда 7 марта 1908 г. революционерка была приговорена к каторжным работам на 20 лет (при утверждении приговора срок снижен до 15 лет). Наказание сначала отбывала в Новинской женской каторжной тюрьме в Москве. Затем этапом была отправлена на Нерчинскую каторгу, куда прибыла 16 июля 1908 г.

В Мальцевке — спецтюрьме для особо опасных государственных преступниц — Каховская познакомилась со знаменитыми эсерками и анархистками. Маруся Спиридонова была осуждена на бессрочную (пожизненную) каторгу за убийство карателя тамбовских крестьян Луженовского. Эсерка Настя Биценко застрелила карателя саратовских крестьян генерала Сахарова. Анархистка Фаня Каплан готовила теракт против киевского генерал-губернатора, но в результате сама была ранена осколками преждевременно разорвавшейся при сборке бомбы. Эсерка Саня Измайлович, дочь генерала артиллерии, получила срок за участие в двойном покушении на минского губернатора и полицмейстера (оно оказалось неудачным, поскольку полученные от агента «охранки» бомбы были испорчены). Дочь богатого купца, максималистка Надя Терентьева участвовала в подготовке взрыва дачи Столыпина. Все перечисленные террористки также получили бессрочную каторгу и оставались в Мальцевке вплоть до революции. Каховской повезло больше: её амнистировали в 1914 г. по случаю прошедшего 300-летия Дома Романовых, и она перешла в разряд ссыльно-поселенок.

В 1909 г. к ней, повторяя подвиг добровольно последовавших на каторгу за мужьями «декабристок», приехала мать, поселившаяся по соседству в Александровском заводе. Весной 1911 г. в связи с усилением режима Каховскую вместе с другими политкаторжанками перевели в Акатуй. «Романтическая мальцевская юность уступила место суровому трудовому и ещё гораздо более замкнутому акатуевскому совершеннолетию», — вспоминала она. Мемуарный очерк «Из воспоминаний о женской каторге» был опубликован в сборнике статей «На женской каторге», вышедшем в 1930 г. с предисловием и под редакцией легендарной Веры Фигнер в «Издательстве политкаторжан».

Августа Федоровна также переехала в Акатуй, в ветхий деревенский дом в полутора верстах от тюрьмы. Одна из политкаторжанок вспоминала: «Старушка жила тяжким трудом, учила ребят, чтоб поддержать дочь, и мужественно несла все невзгоды каторжного положения. Первый год на Акатуе она была нашей живой связью с волей...»

В октябре 1911 г. она была уличена в нелегальной передаче писем политкаторжанам, после чего военный губернатор Забайкальской области запретил ей свидания с дочерью. Начальник тюрьмы штабс-капитан Шматченко 11 ноября докладывал по инстанции Забайкальскому областному тюремному инспектору в этой связи: «<...>Каховская Августа (мать ссыльно-каторжной) является передаточной инстанцией во внетюремный разряд, что легко ей сделать, так как двор с деревянным старым забором и никем не охраняется снаружи. А извне тюремного разряда при каком угодно наблюдении женщина может пронести в тюрьму письмо или записку, ибо при пропуске, когда нужно, в тюрьму привратнику или кому иному обыск с ног до головы невозможен женщине. Всё зло, следовательно, происходит от посторонних лиц, проживающих при тюрьме, как добровольно пришедших за своими родными <...>».

Когда Ирина Каховская вышла на поселение в Торейскую волость Селенгинского уезда, она воссоединилась с матерью. Позже им вместе было разрешено поселиться в Чите, где Ирина работала в детском саду, организованном для детей солдаток. Так продолжалось до Февральской революции, которая распахнула двери Нерчинской каторги. Весной 1917 г. Каховская в компании с приехавшими в Читу Марией Спиридоновой и ещё несколькими подругами по каторге приняла горячее участие в создании Читинского комитета ПСР, стоявшего, по её словам, на позициях «максимализма и интернационализма».

*** ** ***

В конце мая 1917 г. в Москве собрался Всероссийский съезд Партии социалистов-революционеров. На утреннем заседании 31 мая председательствующий произнес: «Товарищи, я считаю нужным известить вас, что в ваших рядах находятся светлые, героические личности: М. А. Спиридонова, А. А. Биценко, Н. А. Терентьева, И. К. Каховская... Товарищи, я думаю, что я явлюсь выразителем чувства всего съезда, если приглашу наших дорогих товарищей, явившихся с Востока, из Сибири, с каторги, принять участие в наших рядах, в рядах товарищей, вырабатывающих новую Россию, и присутствовать здесь вместе с президиумом. (Шумные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию)».

На II Всероссийском съезде Советов, провозгласившем Советскую власть, Каховская заседала в президиуме съезда вместе с Лениным и другими вождями большевиков и несколькими левыми эсерами. Кстати, хотя формально М. Спиридонова была тоже избрана в состав президиума, на самом деле в разгар переворота она находилась в поездке по южным городам. Так что Каховская да ещё Александра Коллонтай оказались двумя женщинами в президиуме судьбоносного съезда. После провозглашения Советской власти Каховская стала (наряду с застреленным в июне 1918 г. рабочим-эсером Иваном Сергеевым большевиком В. Володарским) сопредседателем Агитационно-пропагандистского отдела ВЦИК.

На одном из митингов или собраний Ирина Каховская познакомилась с кронштадтским матросом Борисом Донским. Он был младше её на восемь лет, родился и

вырос в деревне на Рязанщине в крестьянской семье. В дополнение его биографии в изложении самой Каховской хочется процитировать видного деятеля революции в Кронштадте, анархо-синдикалиста Ефима Ярчука:

«Я знаю Б. Донского почти с первых дней нашей революции.

Как матрос Балтийского флота он испытал на себе все прелести адского режима, применявшегося главным командиром Кронштадта в дореволюционное время.

Настает революция — и он всей душой отдается делу освобождения народа. Всегда спокойный, весёлый и бодрый, говорящий с товарищами с приветливой улыбкой, он совершенно не мог оставаться без дела. Правда, он любил почитать и поспорить в свободное время, но вечно был занят и творческой работой, что-нибудь налаживал, где-нибудь помогая.

Но охотнее всего он принимал участие в открытой вооруженной борьбе. Он — неизменный участник всех выступлений Кронштадта, всегда находился в первых рядах кронштадтских революционных борцов, он шёл впереди кронштадтских матросов, солдат, рабочих и работниц, шедших в июльские дни по улицам Петрограда с требованием: “Вся власть Советам!”. Во время корниловского мятежа он был комиссаром форта Ино, а с Октябрьской революции он непрерывно сражался в разных местах за торжество социализма».

Весной 1918 г. Борис Донской был приглашён в состав Боевой организации при ЦК левых эсеров. Вспыхнувшая между Ириной и Борисом любовь была столь же стремительной и короткой, как и та революция, за которую они боролись и на алтарь которой готовы были положить свою жизнь. Как известно, убийство германского посла Мирбаха было поручено принадлежавшему к левым эсерам чекисту Якову Блюмкину, а ликвидацией командующего группой армий «Киев» генерал-фельдмаршала Эйхгорна должны были заняться Каховская и Донской.

Герман фон Эйхгорн, доводившийся родным внуком по матери философу-идеалисту Шеллингу, был старым бисмаркским воякой, участвовавшим ещё во франко-прусской войне 1870–1871 гг. Во время Первой мировой войны Эйхгорн был назначен командующим 10-й армии кайзера и участвовал в боях на Мазурских озёрах, в осаде Ковно (Каунаса), в битвах на Немане и у Вильно, в боях за Лифляндию, Эстляндию, а также в наступлении на Чудском озере, словно мстя за своих соплеменников, разбитых Александром Невским. В 1915 г. он получил высшую военную награду Пруссии — орден «Pour le Mérite» («За заслуги»), неофициально именовавшийся «Голубым Максом» (нем. «Blauer Max»). В сентябре того же года добавил к нему дубовую ветвь, и в декабре 1917 г. был произведен в чин генерал-фельдмаршала. Позже Эйхгорна торжественно похоронили в Берлине на специальном военном кладбище Invalidenfriedhof. Впоследствии о нём не забывали и в Третьем рейхе. Когда войска вермахта заняли Киев в 1941 г., Крещатик (к тому времени проспект Воровского) был переименован гитлеровцами в Эйхгорн-штрассе.

Между тем в апреле 1918 г., на втором съезде левозеро-эсеро-вской партии Каховская была избрана в члены ЦК, а в конце мая боевики пересекли границу в районе Курска и выехали в Киев. Слежка за генерал-фельдмаршалом увенчалась успехом. 30 июля 1918 г. в центре Киева раздался оглушительный взрыв, и Эйхгорн был убит. Это об этом эпизоде потом написал в «Белой гвардии» Михаил Булгаков: *«Среди бела дня, на Николаевской улице... убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией*

на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своём могуществе, заместителя самого императора Вильгельма!» Спасаться бегством террорист не захотел. Донского схватили и после страшных пыток повесили. Жития его было двадцать три года.

** **

Спустя несколько дней была арестована попавшая в засаду Каховская. 12 сентября, после допроса с пристрастием, военно-полевой суд приговорил её к смертной казни, а затем приговор был послан на конфирмацию кайзеру Вильгельму II, поскольку по действовавшим тогда в Германии законам смертный приговор, вынесенный женщине, мог быть приведен в исполнение только с разрешения императора. Тем временем в Киеве был сформирован новый состав Боевой организации во главе с Яковом Блюмкиным, перед которой ставилась задача освобождения Каховской. С ней сумела установить связь ее подруга по каторге Надежда Терентьева, входившая вместе со своим мужем Моисеем Закгеймом в новый состав БО. По словам Блюмкина, освобождение не удалось ввиду того, что тюрьма тщательно охранялась немецкими войсками.

К этому моменту приговор был подписан председателем Рейхстага, однако утверждение его задержалось, так как кайзер находился в ставке. Потом произошла Ноябрьская революция в Германии, и кайзер отрёкся от престола. Между тем в Киев с боем вошли петлюровцы, но о Каховской они почему-то «забыли», хотя до этого сидевший в той же Лукьяновской тюрьме Симон Петлюра передавал для нее восторженные записочки, восхищаясь её героизмом. Свыше четырех месяцев провела она за решеткой, ожидая со дня на день приведения приговора в исполнение. Придя к власти, петлюровская Директория продолжала держать Каховскую в заточении в качестве заложницы. Был, впрочем, тогда на Украине ещё один человек, имевший собственный взгляд на ситуацию. Его звали Нестор Махно. В своих воспоминаниях Батько Махно писал:

«Приехавшие из тюрьмы товарищи привезли нам некоторые интересные сведения. Они рассказали нам о том, что Украинская Директория, сделав переворот и изгнав гетмана из Киева, поспешала, как будто по долгу социалистов (Винниченко, Петлюра, Макаренко были ведь социалистами, и некоторые ими остались), декретировать освобождение из тюрьмы всех политических заключённых, но не подумала об освобождении организаторши убийства палача революции немецкого фельдмаршала Эйхгорна левой эсерки Каховской. Левые эсеры были этим чрезвычайно возмущены».

Тем временем голоса в защиту киевской заложницы стали раздаваться с разных сторон: выносились резолюции на съездах украинских селян и повстанцев; в Москве Спиридонова опубликовала статью «Спасайте Ирину Каховскую!». Наконец, после того как постановления об этом вынесли губернский крестьянский съезд в Киеве и ряд рабочих собраний, 24 января 1919 г. Каховская была выпущена из-под стражи.

Через две недели в Киев вошли части Красной армии, но поскольку члены ЦК левых эсеров были объявлены вне закона, Каховская предпочла укрыться в эшелоне Богунского полка, входившего в состав дивизии под командованием сочувствующего ее партии Николая Щорса. «Штаб этого полка был весь эсеровский, и меня приняли как своего товарища», — вспоминала она. Узнав по прибытии в Москву подробности преследований левых эсеров, она написала возмущенное открытое письмо пред-

седателю Верховного революционного трибунала. Письмо заканчивалось такими словами о родной партии: *«Я лично считаю за честь бороться в её рядах и нести ответственность за все её выступления».*

В этом письме Каховская предельно ясно выразила своё политическое кредо, ставшее выбором всей её дальнейшей жизни со всеми вытекающими последствиями. Отныне она была обречена.

Чуть позже товарка Каховской по Нерчинской каторге и соратница по левоэсеровскому ЦК Александра Измайлович в декабре 1919 г. очень ёмко сформулировала различия между Российской компартией большевиков и ПЛСР в «Опросном листе» Московского комитета Политического Красного Креста:

«Сущность дела заключается в различии программ П. Л.С-Р. и Р.К.П. Партия левых эсеров стоит за власть Советов Крестьян и Рабочих; партия коммунистов за диктатуру своей партии. П. Л.С-Р. стоит за братский тесный союз трудового крестьянства и пролетариата; партия коммунистов — за диктатуру верхушек пролетариата над трудовым крестьянством и остальной массой пролетариата. П. Л.С-Р. стоит за социализацию земли, фабрик и заводов. Партия коммунистов за государственный капитализм, называющийся национализацией земли, фабрик и заводов. И т. д.».

Первый арест Каховской чекистами в середине мая 1919 г., однако, оказался не очень долгим, продлившись около двух месяцев: Каховская была освобождена вследствие вмешательства Ленина, после того как руководство большевиков узнало о её намерении организовать покушения на Колчака и Деникина. В итоге в начале августа она выехала обратно на Украину во главе группы боевиков вместе со своим помощником, талантливым астрономом, во время германской войны превратившимся из студента Московского университета в прапорщика на Румынском фронте, а затем в левоэсеровского боевика, Михаилом Жуковым.

Хорошо зная Жукова по ссылкам меньшевичка Вера Аркавина оставила очень интересную характеристику нового соратника Каховской: «Михаил Жуков был слеплен из особой глины, из которой лепятся подлинные учёные. Это был человек настойчивой научной целенаправленности и пытливости. Его работоспособность была поразительна и уступала только его внутренней дисциплине».

Вместе Каховская и Жуков (также выпущенный из-под ареста в Москве) символически прибыли в Киев 10 августа — ровно год спустя после казни Донского. О том, как они выследили маршрут передвижения главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России А. И. Деникина по Ростову-на-Дону и планировали забросать бомбами его автомобиль, читатель узнает из мемуаров самой Ирины Константиновны. Как и о том, почему сорвался этот теракт.

*** **

Возвращаясь через Харьков в Москву, по дороге на обратном пути Каховская заболела возвратным тифом и из-за начавшихся осложнений полгода провела в больнице Н. Ф. Рихтера на станции Ховрино, где за ней, как верный рыцарь, ухаживал живший по подложным документам Михаил Жуков. По выздоровлении ей самой уже пришлось ухаживать с разрешения ВЧК за арестованной под чужим именем Спиридоновой, тоже тяжело больной тифом. Партийной работы она при этом также не оставляла, и на подпольной конференции в начале 1921 г. была избрана в состав органа-дублера ЦК — Комитет Центральной области. Вместе с Жуковым она участво-

вала в открытии клуба эсеров-максималистов имени Михаила Соколова («Медведя») по адресу ул. Петровка, д. 7. Но вскоре вспыхнуло восстание в Кронштадте, и за ней, как и за десятками других социалистов и анархистов, пришли чекисты.

Среди материалов ее дела 1921 г., с которым мне удалось познакомиться в Центральном архиве ФСБ, имеется ордер ВЧК за № 583 «на производство ареста Каховской Ирины Константиновны» за подписью заместителя начальника Секретно-оперативного управления ГПУ Генриха Ягоды от 21 марта. За год её пребывания под стражей производился всего один допрос, поскольку следствия как такового не велось, а арест был обусловлен изоляцией несговорчивой оппозиции. В тюрьме она не теряла время зря: именно тут Каховской были написаны мемуары об убийстве Эйхгорна и подготовке покушения на Деникина. По свидетельству видного меньшевика Бориса Николаевского, во второй половине 1921 г. во внутренней тюрьме на Лубянке существовало нечто вроде «исторического общества», в рамках которого делались доклады по истории революционного движения и Гражданской войны, а среди выступивших были Каховская, эсеры Абрам Гоц, Александр Иваницкий-Василенко, Василий Филипповский. Для своего выступления Каховская написала текст о подготовке покушений на Эйхгорна и Деникина, который и лег в основу мемуаров об этих важнейших в её жизни страницах.

22 марта 1922 г. секретарь Центрального организационного бюро легальных левых эсеров Илья Баккал обратился в ГПУ с просьбой освободить больную острым нефритом с частичным параличом конечностей Каховскую для лечения в санатории. На обороте этого заявления имеется резолюция начальника 5-го отделения Секретного отдела ГПУ Терентия Дерибаса: «<...>Что касается Каховской, то ей предоставить санаторий можно, тем более, что Винавер (зам. руководителя Политического Красного Креста Е. П. Пешиковой. — Я. Л.) предлагал взять на себя поручительство. Состояние ее здоровья действительно гнусное еще с Эйхгорновских пыток».

Как раз в это время ЦК левых эсеров вынес постановление об отправке на Международный конгресс социалистических партий в Берлине, созываемый президиумами трех Интернационалов (включая Коминтерн), находящихся в заключении левоэсеровских лидеров Бориса Камкова и Каховскую. Во ВЦИК поступило заявление с ходатайством «о выдаче заграничных паспортов названным делегатам и соответствующего распоряжения административным органам о нечинении никаких препятствий к свободному проезду их за границу».

Надо ли говорить, что, конечно, никто выпускать их за рубеж и не собирался. Вместо Берлина Коллегия ГПУ в ходе судебного заседания 8 апреля уготовила Каховской высылку под «гласный надзор Калужского губотдела ГПУ» (решение было утверждено зам. председателя ГПУ Иосифом Уншлихтом), но, правда, с предварительным помещением на лечение в Полянский санаторий в Москве. Кстати, именно в этой лечебнице по адресу Б. Полянка, д. 52, позднее проходил курс лечения Сергей Есенин. О пребывании Ирины Константиновны в калужской ссылке и о деталях нового её ареста читатели смогут узнать из очерка «Калужское дело Ирины Каховской» в Приложении.

Тем временем в 1923 г. мемуары Каховской «Дело Эйхгорна и Деникина» были напечатаны в Берлине в сборнике «Пути революции» на русском и немецком языках. Сборник выпустило левоэсеровское издательство «Скифы». Затем их перепечатали

журнал «Ле Журналь ду пёпл» (Le Journal du Peuple) (Франция) и крупнейшая социал-демократическая газета Швейцарии «Бернер Тагвахт» (Berner Tagwacht). Через три года мемуары вышли в Париже в виде отдельной книги с предисловием Романа Роллана. *«Я отвергаю идеи Каховской, — писал французский классик, — но повесть эта имеет захватывающую человеческую (или нечеловеческую) ценность. Это психологический документ высшего порядка. Абсолютная простота рассказчика, её такая русская способность объективного видения, невероятная, отданная делу энергия — всё это вызывает изумление читателя».*

В марте 1925 г. последовал новый арест Каховской, которую обвиняли не только в попытке возродить к жизни левоэсеровскую организацию в Калуге, но и в идейном руководстве студенческой организацией «Революционный авангард» в Москве, связанной с аналогичными группами в Нижнем Новгороде, Казани, Орле и ещё нескольких городах. Озаглавленный нами как «Уфимское дело», мемуарный текст имел трёх адресатов: ЦК КПСС, Совет министров и Прокуратуру СССР. В нём Каховская несколько раз отклонилась от истины, стараясь снизить градус подпольной работы и оппозиционного настроения левых эсеров, обеляя своих соратников. В Приложении по материалам следственного дела и другим источникам восстановлена более правильная картина.

В это время в Европе была предпринята масштабная кампания за освобождение преследуемых в Советской России революционеров. В Париже был создан специальный Комитет Спиридоновой-Каховской. В следственном деле Каховской подшиты письма от немецких рабочих, направленные в советское полпредство в Берлине. Судя по всему, эта кампания была начата Всеобщим рабочим союзом в августе 1925 г. Местные организации этого союза в Саксонии и заводские организации из Дрездена и Бреслау посылали заявления с требованиями освобождения Каховской. В издательстве немецких анархо-синдикалистов «Югенд Дойчландс» (Jugend Deutschlands) была выпущена серия почтовых открыток под названием «Жертвы большевизма» с фотографиями Спиридоновой, Каховской и Измайлович. Напечатанные на трёх языках — немецком, английском и французском, — они распространялись на митингах

А в это время болезненное состояние Каховской прогрессировало. Ей пришлось лечь на операционный стол, поскольку из-за поражения обоих легких возникла реальная опасность для её жизни. Потом швы разошлись и потребовалось новое хирургическое вмешательство. Кроме того, она страдала закупоркой вен. Немецкие социалисты обращались к Кларе Цеткин с требованием добиться высылки Каховской за границу, но та ничего не захотела сделать по существу. Все предпринятые западными социалистами и анархистами меры оказались тщетными, за исключением пересылки в СССР через Екатерину Пешкову вырученных средств для оказания материальной помощи народным героям. В статусе политссыльной Каховская лечилась от туберкулеза в санатории «Лесное» в Ставрополе-на-Волге (ныне Тольятти) в 1925 г.

Во время ссылки в Самарканде (1925–1928) ей удалось устроиться на работу руководительницей в пионердом № 4 в соответствии со своим педагогическим образованием. В ссылку к ней, уже во второй раз в жизни, подобно «декабристкам», приехала мать — Августа Федоровна. Здесь она, как следует из письма Александры Измайлович

к эсерке Надежде Брюлловой-Шаскольской от 14 ноября 1926 г., и скончалась той же осенью.

** **

По окончании срока ссылки Каховская, Измайлович и Спиридонова вместе с мужем Ильей Майоровым остались жить в «минусе» в Средней Азии, избрав местом жительства Ташкент. Здесь Каховская зарабатывала на жизнь техническими переводами с английского при водхозе, одновременно давая частные уроки. Во время начавшейся коллективизации многие ссыльные эсеры подверглись новым репрессиям. Для Каховской очередной арест обернулся ссылкой в Уфу. Сюда же были отправлены из Москвы арестованные в Ялте (куда им было разрешено временно выехать для поправки здоровья) Спиридонова и Измайлович. Снова знаменитая левозеровская «четвёрка» (включая Майорова), как их обычно называли, была собрана в одном месте ссылки.

В столице Башкирии Каховская первое время работала воспитательницей в детской трудкоммуне, занимаясь беспризорниками. Но вскоре последовал официальный запрет со стороны ОГПУ на её работу с детьми, на которых она-де могла оказать нежелательное влияние. Тогда она поступила на службу в качестве старшего плановика-экономиста в Башмелтрест. Чекисты, однако, не могли воспрепятствовать ей заниматься с детьми ссыльных, в число которых входил сын Майорова от первого брака Лёва. Как вспоминал впоследствии Лев Ильич, Каховская занималась с ним сразу «по нескольким предметам в дополнение к школьной программе (древняя и средняя история, немецкий язык, география и физика)».

Жизнь шла своим чередом и состояла не из одних только трудовых будней и еженедельных явок на регистрацию в местный отдел ОГПУ (с 1934 г. — в местное управление НКВД). Ссыльные, особенно молодёжь, старались собираться и проводить время в компаниях, влюблялись, женились, рожали детей. Так, проживавший в Уфе левый эсер Леонид Драверт, осужденный в 1925 г. в Нижнем Новгороде за руководство кружками и написание листовки, женился на высланной с Украины участнице сионистского движения Хаве Аптекарь. Как выясняется из письма его жены в начале 1935 г. к левой эсерке Рахили Семятицкой, отложившегося в архивно-следственном деле последней в одном из киевских архивов, приёмными (крёстными) родителями их с Дравертом младшего сына стали Майоров и Каховская. Именно Драверт два года спустя сыграл неблагоприятную роль во время следствия над левозеровской «четвёркой» и другими уфимскими ссыльными, о чем подробным образом рассказывает Каховская в последнем из публикуемых мемуарных очерков.

Ссыльные и их друзья ходили в кино, много читали и делились друг с другом мыслями о прочитанном, сами пытались писать. «1 Мая всегда, по инициативе Ирины Константиновны, мы ходили в лес большой группой, человек по пятнадцать-восемнадцать, тогда нас всегда сопровождали два-три агента». Автор этих воспоминаний Галина Затмилова пишет далее:

«...можно сделать вывод, что все были счастливы и довольны жизнью, однако это было далеко не так. У каждого в душе жил червяк большой неудовлетворенности, каждый в душе тосковал о том, чему он отдал свои мысли, свои устремления.

Как-то однажды мы большой группой, вернувшись с фильма “Земля в плену”, сидели на террасе у Ирины Константиновны, и Николай Подгорский (в прошлом активный

левый эсер. — Я. Л.), глядя вдаль, с тоской проговорил: “Невыносимо думать, что и у нас земля осталась в таком же плену, как была до революции, а может быть, даже больше”. В молчании, которое последовало за его словами, была такая напряженность, что не почувствовать её было нельзя».

Ввиду активной слежки за ними думать о какой-то организационной работе, разумеется, было невозможно. Но желание сохранить идейное единство и не растерять связи между колониями ссыльных имело место. Из всего этого следователи потом и сплели доселе невиданную паутину.

В ночь с 7 на 8 февраля все уфимские ссыльные были арестованы. После многомесячного изнуряющего следствия, по сценарию которого Каховской была определена роль одного из руководителей т.н. Всесоюзного центра левых и правых эсеров и в основу которого легли сначала показания активно сотрудничавшего со следствием Драверта, а затем и сломленного Майорова, 25 декабря 1937 г. состоялись закрытые судебные заседания выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством диввоенюриста Горячева. Большинство рядовых подсудимых, в том числе и сам Драверт, пытавшийся спасти ценой предательства жизнь, были приговорены к расстрелу. Каховская же была осуждена на 10 лет заключения и 5 лет поражения в правах. Почему руководство НКВД решило пойти на сохранение жизни Каховской, Марии Спиридоновой и ещё нескольким главным руководителям эсеров, до сих пор остается загадкой. Судя по публиковавшимся в последние годы докладным запискам Ежова Сталину, многочисленные дела «Всесоюзного эсеровского центра» и «Уфимское дело», в частности, находились под пристальным контролем не только Лубянки, но и Кремля. Тем больше загадок, почему позднее одни из проходивших по нему (Спиридонова и Майоров, приговоренные к 25-летнему сроку тюрьмы, и Измайлович, приговоренная в 1937 г. к 10 годам) были все же расстреляны в сентябре 1941 г., а Каховская, после недолгого пребывания в Ярославской и Владимирской тюрьмах, угодила в Краслаг. 27 человек, проходивших по этому или смежным с ним делам (в том числе левые эсеры Борис Белостоцкий, Галина Красовская, анархисты Татьяна Блатова, Борис Медников и др.), были расстреляны ранее.

О том, как именно производилось следствие по «Уфимскому делу» и плелась паутина глобального эсеровского заговора, соединенного воедино с «право-троцкистским блоком», делами Всесоюзного меньшевистского центра, различными «террористическими» и «повстанческими» организациями из числа бывших политкаторжан царского времени, спецпереселенцев и т. д., я детально изложил в статье «Дело “Всесоюзного эсеровского центра”» в сборнике «Политические и социальные аспекты истории сталинизма. Новые факты и интерпретации», вышедшем в серии «История сталинизма» в издательстве «Политическая энциклопедия» в 2015 г.

При чтении «Уфимского дела» читателю не стоит обращать внимание на отдельные штампы и ярлыки наподобие: «люди остались сами собой, но поняли и признали тот факт, что единственной руководящей силой революции стала партия большевиков, что для поступательного и победного движения необходима однопартийная система государственного руководства; что всякое оппозиционное выступление — авантюра на руку врагам...», или ещё хуже — «банды Махно», учитывая указанных адресатов (ЦК КПСС и Совмин с Прокуратурой).

Лагерное заключение с конца 1939 г. Каховская отбывала на ст. Нижняя Пойма Красноярского края, «в течение 7 лет работая исключительно на общих работах: лесозаготовках и сельхозработах». Одна из бывших «зэчек», К. Л. Волкова, вспоминала:

«...Вот она сидит передо мной в своём заштопанном-перештопанном черном платье, на плечах ветхая косынка, бывшая когда-то кофтой. Сегодня мы работали на лёгкой работе, давили руками капустных вредителей, лежа в меже и передвигаясь ползком. Ирина Константиновна устала, всё тело у неё ноет, но глаза светятся, как всегда. Она глотает кипяток, мочит чёрный сухарь и говорит: “Умойтесь, поешьте, будем читать Пушкина”.

Всюду, где появлялась Ирина Константиновна, затухали ссоры. Они возникли часто и всегда по пустякам, люди полуголодные, отчаявшиеся, быстро вспыхивали...

Глубокой осенью сидели мы в поле и обрывали ботву с турнепса для корма скота. День был ветреный, уже тянуло “живусом”. Руки у всех закоченели, а над нами: “Давай, давай!..”. Костры разводить не позволяли. И вдруг мягкий голос Ирины Константиновны: “А вы помните, как хорошо сказано у Есенина?”:

О красном вечере задумалась дорога

Кусты рябин туманней глубины...

Закоченевшие руки заработали быстрее. А она продолжала:

Всё гуще хмарь, в хлеву покой и дрёма

Дорога белая узорит скользкий ров...

И нежно охает ячменная солома,

Свисая с губ кивающих коров...

— Так и видишь этих коров, слышишь как “охает» солома, — говорит она. И вот мысль отвлечена, и людям легче дотянуть тяжелый день до свистка конвоира».

Отбыв срок от звонка до звонка, после освобождения 8 февраля 1947 г. она уехала было в Алма-Атинскую область, где несколько месяцев трудилась «разнорабочей <...>на очистке арыков и сельхоз. работах». В ноябре того же года она решила вернуться в Канск, «где надеялась найти более лёгкую работу». Но её «никуда не принимали», и Каховской пришлось устроиться в овощехранилище на «переборку картофеля».

*** **

В Канске она поселилась у своей товарки по лагерю — Марии Николаевны Яковлевой (1890–1968). Они называли друг друга сёстрами, однако имелась ли между ними в самом деле родственная связь или только образные «сестринские» отношения, до сих пор в точности не установлено. О Марии Яковлевой или Марианне Ямпольской (её литературный псевдоним) можно подробнее прочесть в очерке «Жизнь после ГУЛАГа» в Приложении.

Приехав в Канск, Каховская поселилась в «соцгородке» Гидролизного завода № 27. Здесь она и была в последний раз арестована в начале января 1948 г. Этот бессмысленный во всех отношениях арест являлся своего рода профилактикой, применявшейся в послевоенное время ко всем бывшим сидельцам по серьёзным политическим делам, которые так и именовались, «повторники». Под следствием она длительное время содержалась в Красноярской тюрьме, вплоть до вынесения в Москве постановления ОСО при МГБ от 30 июля 1949 г.: «Каховскую Ирину Константиновну, за антисоветскую эсеровскую деятельность сослать на поселение». (Осуждена она была в памятный для неё день убийства немецкого генерал-фельдмаршала Эйхгорна в

1918 г. в Киеве.) В соответствии с этим абсурдным постановлением был выдан «наряд для этапирования в ссылку на поселение» Каховской в... тот же Красноярский край. После чего её вернули «в Канск к сестре, как её иждивенку и совершенно больного и нетрудоспособного человека, в качестве ссыльной». Вышло прямо по Высоцкому: «И меня два здоровых охранника повезли из Сибири в Сибирь»...

Вскоре им пришлось расстаться, так как Яковлева тоже была арестована повторно и приговорена к пожизненной ссылке в Казачинский район Красноярского края. Оставшейся одной, Каховской пришлось подрабатывать частными уроками и изготовлением искусственных цветов. Сбылось пророчество эсера-максималиста Жук-Жуковского. Начиная со времени самого первого ареста в 1907 г. Каховская провела в неволе сорок пять (вдумайтесь в эту цифру!) лет. Только в 1955 г. ей удалось наконец покинуть Красноярский край.

** **

Мало кому известно, что Каховская писала стихи. В память о расстрелянных соратниках она напишет стихотворение «Перед казнью»:

Семью мечтателей, невинно осужденных,
Властители на гибель обрекли
И перед казнью их, заранее предрешенной,
В темницу их под стражей отвели.
Немыми и холодными стенами
Их разделили меж собой.
И за тяжелыми дверями
Поставлен мрачный часовой.
Жестокостью людской погребены навеки
Их мысли, песни и мечты,
Как мёртвых глаз опущенные веки,
Висят над окнами железные щиты.
И, чтобы собственной рукой
Никто убить себя не мог,
Прорезан острою пилой
В дверях предательский глазок...
Живой реальностью и действенною силой
Встаёт череда воспоминаний,
И властвует тогда над призрачной могилой
Действительность несбыточных мечтаний.

Приведу фрагмент ещё одного стихотворения с говорящим названием «37-й год» и с посвящением сокамернице Гале Затмиловой, жене левого эсера Павла Егорова:

На полочке резной — любимых книжек ряд,
И на столе — простых цветов букеты,
На скатерти — шелка, разбросаны лежат,
И с ними — лист нечитаной газеты.
Котёнок дымчатый играет на окне
И резво ловит мягкой лапкой мушек;
Ковёр персидский на стене
И груды вышитых подушек.

Старик Кропоткин со стены
Глядит суровыми и добрыми глазами,
А за окном стволы берёз видны
И клумбы с пёстрыми цветами.
А на кровати белоснежной
Раскрытый том Есенинских стихов,
И веет запах нежный
Твоих недорогих духов...
На глади жизни быстротечной
Нигде не видно грозных волн,
Под светлым парусом безопасно
Легко скользит твой малый чёлн.
Но к страшной пристани прибило
Тебя волнением судьбы,
И лёгкий твой челнок разбило
О камни чёрные тюрьмы.
Разрушен твой приют укромный,
С корнями вырваны цветы,
И книг твоих рукой нескромной
Измяты чистые листы...

Нечто подобное можно было адресовать и ей самой. «Всю жизнь отдала она служению людям», — напишет в очерке памяти Каховской «Несказанный свет» её другая товарка по лагерю К. Л. Волкова.

Ярослав Леонтьев

Горький 9 января 1905 года

Среди материалов о жизни Горького, тщательно собираемых его биографами, имеется один малоосвещённый эпизод, относящийся к 1905 году. Это его выступления 9 января в Петербургской публичной библиотеке и вечером того же дня в Вольно-экономическом обществе.

Впечатления шестнадцатилетней девушки-студентки, рассказанные мной, теперь уже семидесятилетней старухой, возможно, представят некоторый интерес.

В день Кровавого воскресенья я увидела Горького впервые, и на фоне ужасных событий этого дня его облик, слова и призывы казались особенно значительными и врезались в память на всю жизнь.

Как сейчас, вижу я взволнованное, бледное лицо писателя, который в те годы был для нас, студенческой молодежи, величайшим авторитетом и нежной любовью.

В это морозное солнечное утро я направилась с Сергиевской улицы (1), где жила тогда с матерью, в Публичную библиотеку готовиться к реферату по истории. Мне предстояло подобрать материалы о земских соборах. Тема эта была нам преподана профессором русской истории особенно любовно, в духе идиллического единения царя со своим народом. В трудные для отечества дни, говорилось нам на лекциях, царь призывал для совета и помощи лучших людей Земли Русской от бояр до земских, и народ с полным доверием и готовностью шёл на жертвы имуществом и жизнью по зову монарха. Эти взаимоотношения между царём и народом, внушалось нам, исконно русские, сложившиеся в ходе истории: доверие царя к своему народу и уважение к его решениям и сейчас лежат в основе нашей государственности... «Царь и народ» — вот над какой темой мне предстояло работать в этот день.

Я спешила. Хотелось скорее вернуться, так как дома третий день лежала больная мать; в доме не было керосина — не достали, уже накануне не горело электричество на улицах, и ходили тревожные слухи, что забастует водоканал. Для обывателей центральной части города все это были досадные бытовые помехи.

Много говорили о Гапоне (2): одни — как о мятежнике, другие — как о примирителе; о готовящейся петиции к царю отзывались одобрительно. Рабочие подадут свою жалобу царю и успокоятся, жизнь войдёт в нормальную колею.

В редкое для Петербурга ослепительно яркое утро на улице былолюдно. По Литейному двигались густые массы прохожих по направлению к Невскому, а на Невском трудно было протолкаться. Много праздной публики — зрителей, ожидающих прохождения небывалой процессии. Поглядывали в сторону Невской заставы: оттуда ждали рабочих.

Около Думы пришлось остановиться. Послышалось пение молитв, гимна; над движущейся в торжественном порядке процессией — церковные хоругви, иконы, поднятые на высоких древках, царские портреты, — не то крестный ход, не то патристическая манифестация, какие были в начале Японской войны. Я долго смотрела

на празднично одетых людей, с серьёзными, сосредоточенными лицами шагавших к Дворцовой площади. Ни улыбок, ни разговоров. В толпе зрителей многие снимали шапки.

Рабочие все шли и шли...

В это же время тяжелые двери Публичной библиотеки то и дело раскрывались, впуская безучастных к происходящему людей — молодых и старых, мужчин и женщин, с книгами, тетрадками, портфелями в руках.

Полнейшая тишина и покой охватывали сразу за захлопнувшейся дверью огромный двухсветный читальный зал с белыми стенами, украшенными свисающим с верхних окон плющом, бесшумные двери, бесшумно отодвигаемые стулья с резиновыми прокладками на ножках, лёгкий шелест перелистываемых страниц — всё это сразу создавало особенное, сосредоточенное настроение, наглухо отделяя от улицы, от её волнений.

Передо мной стопка полученных книг; быстро бегают перо по бумаге. Толпа на Невском совсем забыта.

Неожиданно внизу и на лестнице раздаются громкие требовательные голоса. Читающие с недоумением прислушиваются к шуму. Он все ближе; стеклянные двери распахиваются — и стремительной походкой входят в зал несколько человек в шубах, с заиндеветыми бородами, прямо с мороза. Среди них ряд лиц, известных по портретам, по публичным лекциям, журнальным статьям, — представителей тогдашней либеральной интеллигенции. Называют имена Анненского (3), Мельшина (4) и других.

Общий гул, ропот голосов; все встают, толпятся.

В беспорядке сдвинуты с ближайших столов бумаги и книги. Один за другим входят на эту трибуну возбужденные ораторы. Торопливо, задыхаясь от волнения, от быстрой ходьбы, отрывистыми, горячими словами они рисуют картину происходящей на улице расправы с рабочими: говорят о стрельбе у Александровского сада, об убитых детях, о десятках и сотнях жертв; об обманутом доверии, об убийстве безоружных людей. С улицы вбегают новые очевидцы, и картина дополняется новыми ужасными подробностями...

«Горький, Горький идёт!» Люди расступаются. Вбегает Горький — шуба распахнута, шапка в руке, бледный, хотя с мороза...

Я, конечно, не могу восстановить в памяти текста его речи. Да это и не была связная речь. Это был град острых, горячих слов, проникнутых жестокой болью и негодованием, а также упрёков нам, спокойно читающим умные книги в белом тихом зале, когда под окнами рекой льётся человеческая кровь. Ярко запечатлелись в памяти отдельные, полные страстной выразительности фразы:

— Молодёжь, студенты! Разве тут ваше место? Идите к ним, к тем, кого убивают, боритесь за их дело!

Только что я видел, как грузили на дровни тела убитых, одно на другое, одно на другое, мёртвые тела! Их уже сотни! Их уже сотни, тысячи — а вы здесь сидите, читаете! А рабочих убивают, убивают, убивают! А к бастующим уже вплотную придвинулся голод! Там ружейные залпы, а тут шелестят страницы!..

Они верили, искали защиты — их расстреляли. Но уж больше их никто не обманет! Раскрылись глаза!..

Все сгрудились вокруг, ловя каждое слово, заряжаясь негодованием, ненавистью, загораясь...

Острое, пронзившее душу чувство стыда — я думаю, не у меня одной — рождали эти гневные упреки. Ведь я прошла мимо, я даже не поинтересовалась, чего хотели эти доверчивые труженики. Оказывается, они несли своё горе царю, а он...

Земские соборы, царь и народ — я ведь сегодня утром ещё верила в это... А вот как оно бывает в действительности. Вот оно — единение...

Да, и у меня раскрылись глаза.

— Долой подлое, гнусное самодержавие! — кричит Якубович, а вслед за этим визгливый женский голос:

— Вы и не русский, и не православный!

Все смешалось.

— Будущая русская интеллигенция! Студенты, курсистки! — презрительно бросает Горький и, соскочив со стола, один быстро исчезает за дверь.

С его уходом все задвигалось, зашумело.

— Товарищи, на улицу! — кричит кто-то.

Летят в окошко библиотечарей сдаваемые кое-как книги. Надо скорее идти туда, что-то делать, как-то помешать этим зверствам, нас много...

Шум покрывает голос Анненского. Крупная внушительная фигура и властная речь.

— Стойте! Нельзя идти под пули! Не к чему увеличивать число бесполезных жертв! Кто хочет помочь рабочим, кто действительно хочет бороться с самодержавием — пусть приходит сегодня к восьми часам вечера на собрание в Вольно-экономическое общество. Там обсудим, что делать! Не ходите под пули!

Должно быть, немногие послушались этого совета, но адрес вечернего собрания запомнили.

В вестибюле спешно расхватывается одежда у оторопевшего швейцара, и тяжелые двери библиотеки выбрасывают на улицу людской поток — группы юных студентов и седовласых ученых, охваченных одним и тем же чувством. Завсегдатаи читального зала растворились в уличной толпе.

Однако состав её резко изменился с утра. Теперь это частью оттеснённые с мостовой на тротуары уцелевшие участники процессии — рабочие Невской заставы, частью же привлечённые сюда властным чувством протеста и солидарности возмущённые и бесстрашные люди.

По мостовой проносятся ряды конных полицейских, казаки; раненых кладут на извозчицьи сани, на дровни и увозят.

Но тут и там среди толпы на тротуарах вдруг мелькнет красный лоскуток и сразу скроется; и все чаще и чаще проносится гулом:

— Долой самодержавие! Доло-ой!

Пытаюсь пробраться к Дворцовой площади — удерживает плотная неподвижная людская стена. Стреляют по верх голов, со стен падают куски штукатурки. Прижимаясь к домам, возвращаюсь к Казанскому собору. На памятники Кутузову и Барклаю забрались любопытные мальчишки.

— Убьют, слезайте, чертенята! — кричат из толпы.

По опустевшей мостовой опять цепью проносятся казаки с шашками наголо; лошади на тротуарах. Толпа шарахается. На моих глазах падает женщина с рассеченным лицом...

— Долой самодержавие, долой, долой, долой! — несётся вслед умчавшимся казакам.

Трупы сносят в Казанский собор, кладут между колоннами и в храме. На снегу везде кровь. Кровь была на ступенях собора и на следующий день — несмытая, неубранная.

Темнеет, толпа редееет. Фонари не горят. Где-то звон стекла. Какие-то люди разбивают газетные киоски. Улица мало-помалу пустеет, и, как бывало всегда, на поле сражения ищут поживы мародёры. Становится жутко.

Уже стемнело, когда я пришла домой. Зимний день в Петербурге короткий. Горит лампадка вместо лампы; тревожные вопросы матери, до которой от соседней дошли смутные слухи о стрельбе на Невском.

Стараясь быть спокойной, обедаю вместе с мамой и вновь собираюсь уходить.

— Куда ты на ночь глядя? Ведь в городе неспокойно!..

— Студенческое собрание; меня проводят товарищи; не беспокойся, если поздно вернусь.

Я опять на улице. Фонари не горят. Иду вдоль Литейной — никого. Изредка проезжает казачий патруль. В книжных магазинах на витринах поставлены керосиновые лампы — единственное освещение.

Пересекаю тёмный Невский — словно чёрный туннель по обе стороны. Горят звёзды. Людей — ни души. На Владимирском спотыкаюсь обо что-то мягкое. На тротуарах, на снегу мостовой валяются шапки из разбитого шапочного магазина. Их никто не подобрал. Все глуше и темнее. Не похоже на Петербург.

Подхожу к знакомому зданию Вольно-экономического общества. Входная дверь открыта, но в окнах всюду полный мрак. Обхожу почти ощупью весь нижний коридор — тихо, темно, мертво. Поднимаюсь на второй этаж и начинаю в темноте тот же круговой путь.

И вдруг слабый свет из-под двери. Нажимаю — дверь чуть-чуть подаётся и снова захлопывается. Очевидно, напирают изнутри. Нажимаю изо всех сил и втискиваю в комнату.

Большой зал с хорами переполнен до отказа. Все стоят, тесно прижавшись друг к другу. В конце зала длинный стол и за ним несколько человек — те же, что были утром в Публичной библиотеке, и ещё другие. Зал освещён двумя свечами, они горят в каком-то тусклом красном сиянии. Очень жарко и душно.

Горького здесь нет. Звучат обличительные речи. Теперь это связное изложение, объяснение событий сегодняшнего дня. Разворачивается перед слушателями, в большинстве студенческой молодежью, вся длинная цепь преступлений самодержавной власти, бесправия народных масс, нищета деревни, тяжёлое положение рабочих... и новые трагические подробности столкновения рабочих с войсками в разных концах города.

За этот день, за этот вечер я узнала то, о чём раньше не имела ни малейшего представления. Со мной рядом молодые взволнованные слушатели, горящие глаза на взмокших, распаренных страшной духотой лицах. Уже ночь...

Вот, наконец, и Горький. В руках у него бумага. Сначала он стоит на хорах и хочет что-то прочесть оттуда. Ему делают знаки спуститься — и он, уже за столом, прочитывает только что составленное им воззвание к офицерству с призывом не давать команды стрелять в народ. Под этим воззванием должны подписаться все присутствующие. И вот оно уже ходит по рукам в какой-то папке, и химическим карандашом все ставят свои подписи.

Теперь уже Горький не тот, что утром. Он спокоен, деловит, но, видимо, очень утомлён. Он, должно быть, пришёл сюда ненадолго — и опять исчез, так же как утром пришёл в Публичную библиотеку один — и ушёл один.

— Сегодня в России началась великая революция, ничто уже остановить её не в силах.

Кто именно за длинным столом произнёс эти слова, громко, отчётливо и уверенно, я не знаю, но зал ответил восторженным одобрением: «Да! Да! Ура!» Нас быстро одёрнули: кричать нельзя, собрание конспиративное, нужно расходиться поодиночке, и теперь часто будут происходить подобные митинги.

...Домой я шла в четыре часа утра по безлюдным улицам в полном мраке, не испытывая страха.

Мне было тогда шестнадцать лет; и мне кажется, что в то время первым решающим толчком в выборе жизненной цели была для меня коротенькая жгучая речь Горького, произнесённая со стола читального зала Публичной библиотеки.

Из воспоминаний о женской каторге

Это было в марте 1908 года. Из карцера Дома предварительного заключения, где шестнадцатилетняя анархистка Зоя Иванова (5) и я отсидели по семь суток за попытку к побегу, нас непосредственно перевели в Петербургскую пересыльную тюрьму. Там было уже несколько человек политических каторжанок, ожидавших этапа. Иванова провалилась с перепиленной решеткой за день до меня — и очутилась в пересылке тоже днём раньше. После восьмидневной разлуки мы встретились в новой обстановке и не сразу узнали друг друга.

Она сидела на своей койке — бледная, маленькая, утонув в нелепом халате, — и своей стриженной головой, и совершенно юным насмешливым личиком напоминала мальчика-подростка (6). В камере никого больше не было, и Зоя, очевидно, поджидала новую соседку на незанятую койку. На ногах у неё были кандалы.

На кого вы похожи, господи, на кого вы похожи! — зазвенела она мне навстречу детским смехом.

Я даже сконфузилась. Впервые пришлось мне оглядеть «критически» свой костюм.

Недаром плакала и крестилась, глядя на меня, добродушная надзирательница предварилки, когда провожала меня из карцера в «собачник» (7). Наряд был поистине шутовской: короткое, по колена, полосатое платье, гигантские коты поверх холщовых бесформенных чулок, на голове огромный платок из грубой ткани, завязанный под подбородком, потрепанный жалкий суконный халат с тузом на спине. Каждая часть одежды рассчитана была на то, чтобы обезобразить, унижить, сделать арестанта как можно меньше похожим на человека.

Если мой вид был весьма комичен, то Зоина болезненная фигурка, закованная в грохочущие, неумело подтянутые кандалы, производила трогательно-грустное впечатление, несмотря на озорной огонёк в глазах и неунывающий юмор, с которым она относилась к своему положению.

Я вчера ликвидировала голодовку, а вы как?

В карцере мы в виде протеста не принимали пищи, а есть, по правде сказать, очень хотелось. По дороге я не раз вспоминала о горячем молоке, бульоне, белом хлебе, которым администрация ДПЗ снабжала нас обычно по окончании наших 3–4-дневных голодовок. Сейчас, кроме черных корок, у нас в камере ничего не было, а обед только что прошёл.

Вы попробуйте, постучите, — лукаво посоветовала Иванова.

На стук явилась надзирательница.

В чём дело, женщины? — спросила она.

«Женщина» объяснила, что она семь суток ничего не ела и хочет ликвидировать голодовку.

Здесь не гостиница, — последовал ответ, — будет ужин — получите кашу.

Резко царапнуло по сердцу с непривычки. «Это тебе не предварилка, где 2-дневная голодовка политических вызывает целый переполох...» — мелькнула мысль.

За этим первым каторжным штрихом последовал ряд других. Каждый час вычерчивал какую-нибудь характерную деталь в нашем новом быту, в несколько дней мы вполне сбросили свою наивность, отучились от баловства и с гибкостью, свойственной молодости, перестроили свою психику на новый лад.

Жизнь вдвинулась в рамки унылого, бездушного режима. Ограниченное чтение, ограниченная переписка, ограниченная передача, укладывание и вставание в определенные часы, постоянное «женщины, тише!» при малейшем повышении голоса, грубоватый, не допускающий возражений тон приказаний, — всё это должно было служить переходом от политического клуба, каким была предварилка, к «лишенному всех прав» ссыльно-каторжанскому состоянию.

Мы знали, что пробудем в пересыльной недолго, и за режим не боролись, подчиняясь всему. Но неукрощённая ещё молодая радость прорывалась на каждом шагу и портила казённый покаянно-ханжеский стиль, поддерживаемый начальницей и приезжавшими с религиозными книжками христиански-филантропическими дамами.

Каждый вечер Наташа Климова (8), наша соседка по камере, отплясывала под ритмический звон кандалов всякие причудливые танцы. На прогулке Зоя Иванова изводила надзирателей своей беготнёй по мосткам, где полагалось ходить «по кругу, не оборачиваясь и не разговаривая». Из камер то и дело раздавались не в меру громкие слова, но самым непобедимым и страшным врагом оказался прекрасный, необычайно заразительный смех А. Карташевой (9). Она оглашала пасмурное, молчаливое здание неудержимо-радостными раскатами, заставляя улыбаться даже засушенных молчаливых надзирательниц, — поднимался переполох, шипенье, в волчок сыпались угрозы, двигалась на усмирение сама начальница женского отделения, чопорная седая особа с аристократическими манерами, похожая на начальницу института для благородных девиц.

Вы послушайте, послушайте только, что он пишет, — совала Карташева оторопевшей даме насмешившую ее страницу.

Мегере приходилось ретироваться, как сове перед солнцем.

Нас было человек 10–15, рассаженных в нескольких небольших камерах; в течение дня мы не встречались, но по ночам вели через стены длинные разговоры. В абсолютной тишине уснувшей тюрьмы заменяли стук легкими мазками пальца по стене, и приложенное с другой стороны чуткое ухо улавливало звук. Так завязывались волнующие беседы, и, бывало, не дождешься ночи, чтобы продолжать прерванное перестукивание.

Серьёзного чтения в эту пору неопределенности и постоянного ожидания отправки быть, конечно, не могло, но мысль напряженно работала, в душе шла громадная перестройка. Вместе с вольной одеждой, свободными личными свиданиями с близкими, широкой нелегальной перепиской рвались одна за другую все нити прошлого, — как будто прозрачная, но непроницаемая преграда встала между вольным душевным укладом, который мы сохраняли целиком в предварилке, и новым. Это была как бы грань, перевал, после которого сразу не стало видно позади, и глазам открывался совсем другой мир. Стерлись внезапно яркие впечатления суда, боль от неудавше-

гося побега, дорогие мелочи вольной жизни, домашние воспоминания оборвались, как недочитанная книга, как недодуманная мысль. Не было даже острого горя от того, что надолго, может быть, навсегда отрываешься от революционной работы, товарищей.

«Тот, кто хочет, чтобы тени исчезали, пропадали, кто не хочет повторенья и беспечности печали, должен сам себе помочь, должен властной рукою бесплезность бросить прочь» (10), — сентенциозно стучала мне в стенку из Бальмонта в ответ на мои ламентации по этому поводу бессрочная Н. Климова. Полгода назад она пережила казнь самых близких ей людей, Петропавловку и смертный приговор. Тюрьму нужно было принять как суровую неизбежность, усмирить собственный органический бунт против нее и всеми силами постараться обратить её себе на пользу. Будущее не представлялось страшным. На первых порах молодости хотелось новых несбыточных впечатлений, манили интересные встречи со старшими, ушедшими раньше нас товарищами, и если бывало очень тяжело, то только при мысли об оставляемых близких людях.

Большое место в нашей пересыльной жизни занимали свидания. Они бывали очень мучительны — иногда трагичны. Мы расстраивали родных своими необычным видом, ужасными костюмами, осунувшимися лицами. Через две решетки в присутствии надзирателей нельзя было сказать тех нежных прощальных слов, которые хоть немного смягчают разлуку, ободрить, рассказать, как легкомысленно и весело мы пока что относимся к нашему «каторжному состоянию». Все невыговоренные утешения, ласковые убеждения приходили в голову потом, когда уже кончалось свидание, и долго мучишься, лежа на койке и перебирая каждую фразу бывшего разговора.

В последней заботе о нас матери готовили нам в дорогу бельё, форменные капоты, дорожные мешки, которые разрешались собственные, вкладывая всё своё горе и нежность, а иногда последние гроши в это грустное приданое. Нам их передавали перед отъездом. Бельё было белое, капоты чистые и удобные, но для того, чтобы уничтожить в них всякое подобие вольной одежды, администрация тюрьмы догадалась поставить на каждом шве уродливое, величиной с чайное блюдце, круглое клеймо.

По огромным чёрным пятнам на парусиновой одежде можно было издали отличить каторжанку.

Для отправки пока что в Москву нас разделили на две группы. Мы с Зоей попали во вторую, которая уехала позже на несколько дней. Зою перед отправкой, после медицинского осмотра, расковали.

Был май. Все цвело. Станции пестрели публикой. Решётчатый вагон с белыми клейменными девушками внутри обращал на себя всеобщее внимание. Везде нас провожали сочувственные взгляды, иногда — смелые приветствия. Конвой подобрался на редкость сознательный и относился к нам с чисто братским вниманием. Мы жадно знакомились друг с другом, беседовали с солдатами, любовались зеленью и летней нарядной толпой на вокзалах, проникнутые праздничным весенним настроением.

Потом настала белая, ароматная ночь, полная подъема и возбуждения. Пели, делились воспоминаниями, строили планы, шутили, дышали сквозь решетку весенними запахами, на какой-то маленькой станции слушали соловья, радовались жизни и весне, как будто поезд нёс нас к счастливому, беззаботному будущему. В каждой из

нас было сознание нетронутых, неутомленных больших сил, готовность ко всяким испытаниям, полудетская гордость своим высоким званием политической каторжанки и громадная, душу затопляющая нежность к товарищам.

Так, именинницами, приехали мы в Москву и, переночевав одну ночь в Бутырках, веселой гурьбой, перебрасываясь шутками, переступили порог Новинской каторжной тюрьмы (11).

Новинская тюрьма, недавно выстроенная, с грудами неубранных кирпичей и всяких обломков во дворе, несмотря на своё название, была заполнена арестантами самых разнообразных категорий, исключительно уголовными. Они жили довольно свободно и шумно. Задачей администрации было создать для маленькой группы каторжанок специальный режим и изоляцию.

Нас приняли по всей форме. Детальнейший обыск и опять переодевание в ещё более нелепое, чем в пересыльной, одеяние. Отняли все собственное — вплоть до носового платка и гребней. Тон — грубый, безапелляционный, с непривычки — невыносимо оскорбляющий. Перед самой проверкой мы наконец очутились в камере вместе с прибывшими до нас товарищами. Тут же находились человек 10 уголовных каторжанок. Климова, уехавшая с первой партией, тоже была уже раскована.

Кандалами и милым лицом она, очевидно, завоевала сердца, и уголовные относились к ней с нежностью и почтением, явно выделяя её из остальных.

Они приняли нас с хозяйской приветливостью: напоили чаем, который сохранялся тёплым после ужина под грудой бушлатов, накормили чёрными сухарями.

С не притупленным ещё привычкой сознанием униженности этой процедуры, мы выстроились на проверке. Затем надзиратель открыл замок, запиравший длинным болтом поднятые к стене койки, и дверь снова захлопнулась.

Тяжело было смотреть друг на друга после этой первой проверки. На наших лицах было написано: «Должны ли мы были выстраиваться? не уронили ли мы себя в первый же вечер?..».

Нужно было ложиться: нечистый брезент, натянутый на железную раму, соломенная подушка, нечистое суконное одеяло; один конец койки привинчен к стене, другой опирается на «собачку», в которой лежит все арестантское имущество — полотенце, мыло, книга — и которая днем служит для сиденья.

Расположившись по возможности ближе друг к другу, мы открыли совещание, чтобы сговориться относительно своего поведения в будущем и чтобы завтрашний день не застал нас врасплох, как только что проверка.

Сейчас, вспоминая это ночное совещание, я проникаюсь его наивной торжественностью.

Прибывшие раньше нас товарищи описывают нам условия новинской жизни. До сих пор здесь политических не было — мы первые. Администрация ещё не знает толком, как ей держать себя с нами. От нас самих во многом зависит создать то или иное к себе отношение и определить условия, в которых, может быть, долго ещё придётся жить нам и следующим за нами товарищам.

Надо сразу же высоко поднять престиж политических, сразу же осадить все поползновения унижить нас и лишить возможности вести в тюрьме осмысленную жизнь. Мы совещаемся немногословно и устанавливаем тот минимум обеспечи-

вающих нам достойное человеческое существование прав, который мы намерены отстаивать всеми силами, и не уступим ни за что.

Наиболее ультимативно стоял для нас вопрос о книгах. Без книги тюрьма становится страшной. Наиболее бесчеловечный режим скрашивается книгой; с другой стороны, самое сытое и спокойное существование в тюрьме — без возможности чтения — обращается в пытку.

Это хорошо всегда знали тюремщики, отнимавшие у политических заключённых книги.

Первое и главное, за что мы решили бороться, это — книги; мы будем добиваться свободного получения их с воли, потому что вернуться к жизни мы должны подготовленными, знающими, сильными, а не отупевшими, заживо разложившимися без умственной работы... Само собою разумеется, мы не позволим называть себя на «ты», командовать «встать!» при появлении начальства, будем резко реагировать на всякую недопустимую грубость и унижение. Остальные условия примем как каторжный режим, который до нас по всем каторжным тюрьмам приняли товарищи. Это коротенькое совещание сразу подняло дух: мы почувствовали себя немножко «в работе», как на воле, а не выброшенными за борт, никому не нужными жертвами.

Как сейчас, стоит перед глазами освещённая приспущенной лампой маленькая группа: грустное, матерински озабоченное лицо старшей из нас — Сарры Данциг (12); обаятельный, всегда вдохновенный облик Н. Климовой со спущенной наперед косой; маленькая большеглазая Ривочка Аскинази (13), прижав колени к подбородку, в неудобной позе сидящая между двумя койками, — яркий, пышный цветок среди камерного убожества; озорной взгляд мальчика-подростка Ивановой и тихое, всегда невозмутимо ясное, тонкое лицо рыжеволосой Веры Королевой (14). Остальные фигуры тонут в полутьме под серыми одеялами...

Потянулись однообразные дни. Каторжанкам была предоставлена длинная, узкая 15-я камера, полутемная благодаря единственному и неловко поставленному окну. С отдельной лестницей и отдельным ходом на кухню, она жила особой от остальной тюрьмы жизнью. Нам видно было, как гуляют во дворе следственные и срочные уголовные, но общения с ними мы не имели никакого. Работ не было. В камере царил невероятная духота, вонь испорченного «линдваля», который был тут же в камере. Мы томились бездельем, неустроенностью, теснотой и чувствовали себя опять в каком-то переходном состоянии. С первого же почти дня начали создаваться планы побега, который казался легко осуществимым и, действительно, впоследствии блестяще удался.

Администрация то выпускала когти, то делала вид, что игнорирует нас. Благодаря нашей общей жизни с уголовными трудно было решить, что относилось к нам, что — к ним. Общекамерная борьба становилась невозможной.

Тюрьмой непосредственно ведала опять дама — княжна Вадбольская (15); вообще жалкая и трусливая, она с лишёнными человеческих прав заключёнными была высокомерна и привередлива. Она требовала поклонов, титулованья, придиралась к пустякам и была похожа на капризную всевластную барыню, третирующую своих горничных. Несказанное мальчишеское удовольствие доставляло нам при встрече с ней, вместо почтительного поклона, пропеть ей в самый нос песенку... Каторжанок вообще она побаивалась, как «отчаянных людей», с нами в борьбу сама вступить не

решалась и в камере она демонстративно обращалась только к уголовным, словно мы были «не её прихода».

Так прошло благополучно несколько недель. Кое-какие внешние неудобства сгладились: нам выдали отнятые носовые платки и полосатые платя (вначале мы ходили лишь в белье и суконных бушлатах — несмотря на жару); кое-как урегулировали и переписку, прогулки, свидания с приехавшими из Петербурга родственниками. Все же в камере было так тяжело от плохого питания и ужасного воздуха, что мы по уговору с либеральным доктором ходили по очереди парами на недельный отдых в лазарет.

На втором, кажется, месяце наше относительное благополучие рухнуло. Приехало начальство. По команде «встать!» наша публика дружно уселась на «собачки». Разразилась гроза. Политических отделили от уголовных. Введено было карцерное положение в камере на месяц и семидневный темный карцер для каждой в отдельности. Это мы приняли с легким сердцем, но при карцерном положении отняли, разумеется, книги, а этого, согласно нашему решению, мы допустить не могли.

Началась голодовка за возвращение книг, которые должны были быть, по-нашему, неприкосновенны. В сущности, наши книги были все время бельмом на глазу у начальства, которое всячески ограничивало их количество и строго определяло качество. Мы все время чувствовали, что они на волоске; теперь мы имели основание полагать, что и после снятия карцерного положения книги не вернуться, и потому решили протестовать сразу и энергично. Голодали в карцерах попавшие туда в первую очередь, голодали в камере, голодали из солидарности отдохавшие в лазарете и не подвергшиеся наказанию.

Княжна перепугалась не на шутку. Через фельдшерицу и надзирательницу она передавала нам, что не ожидала, что у политических «хватит жестокости так её мучить», закатывала истерики, посылала к нам доктора в день три раза. Когда у кого-нибудь пульс поднимался выше 100, доктор снимал с себя ответственность, и голодающего товарища увозили в Бутырскую больницу. Аскинази и Климова сдались последними. Я помню, как они, обнявшись, стояли у окна и махали нам в лазарет тюремной азбукой, что они чувствуют себя бодро и хорошо. Если не ошибаюсь, на одиннадцатые сутки все товарищи, кроме трех человек, оставшихся в новинском лазарете, оказались в Бутырках. Книги торжественно были возвращены — с гарантией не отнимать их в Новинках, и голодовка, таким образом, окончилась победой.

Пока товарищи поправлялись в Бутырках, меня взяли из Новинской для отправки на Нерчинскую каторгу. Я так и не простилась с ними.

Уже в Мальцевской я узнала, что задуманный ещё при мне побег вскоре осуществился, 12 каторжанок бежали (16). Из них Карташева и Иванова были почти сразу же вновь арестованы и, закованные по рукам и ногам, заперты в бутырские одиночки. Там, по словам товарищей, Шура К. потеряла свой румянец, свой необыкновенный смех, своё цветущее здоровье. Она вышла оттуда в 1917 году тяжелобольная, с совершенно расстроенной нервной системой, и умерла очень скоро после освобождения (17). Немного раньше её умерла в эмиграции Наташа Климова, уже собираясь после революции в Россию (18). От короткого моего знакомства с нею я сохранила какое-то особенное светлое воспоминание. На редкость красивая и внешне и духовно, она поражала своей гармоничностью. Радостная, смелая, с широкой инициативой — и

вместе серьёзная, сосредоточенная в своей богатой внутренней жизни, она, казалось, одним своим присутствием способна была украсить окружающим какое угодно мрачное бытие. В любом наряде, в любом положении ей сопутствовали очарование и поэзия, захватывавшие и друзей и врагов. Разговаривать с ней было удивительно интересно. В пору нашего знакомства её теоретические взгляды были довольно странно обоснованы на пантеистической философии, но мысли её были всегда совершенно самостоятельны, оригинальны, просто и изящно выражены. Спорила она умело.

После известия о побеге я много думала о Наташе, жизнь которой мне всегда представлялась какой-то необычной по размаху и достижениям. От неё веяло талантом и силой...

По словам людей, близких ей в эмиграции, она кончила глубоким душевным надломом... (19)

К каким берегам прибила жизнь остальных новинских товарищей — я не знаю.

Я шагала между двумя конвоирами по московской мостовой в своём полосатом капоте со связкою книг через плечо, любовалась листвою бульваров, наблюдала публику и подбирала медные и серебряные монеты, которые бросали мне прохожие, со смешанным чувством и неловкости и удовольствия. Столько сочувствия и доброты было в долгих провожавших меня взглядах жертвователей, что пренебречь милостыней было бы стыдно, но нагибаться за деньгами было тоже мучительно неловко. К концу пути у меня набралась целая горсть. Я передала деньги конвоиру, и он великодушно разделил добычу, взяв себе медяки «на махорку», а мне передав серебро.

Я оказалась в Часовой башне Бутырок (20), в самой нижней камере, среди каторжанок-прачек, — впервые без товарищей, оторванная от родной новинской семьи. Прачки с утра уходили на работу, и в тишине круглой полутемной камеры я много раздумывала над тем, какую удивительную силу придает человеку его причастность к коллективу, как сразу он духовно слабеет в одиночестве. «Что если бы заперли меня тут одну на весь срок с уголовными без своих? Какова бы я была? На миру и смерть красна, а вот тут одна, повоюй-ка, а, главное, сохрани свою жизнерадостность, бодрись в этой гнилой, темной яме, в этих иссушающих буднях...» От этой мысли становилось жутко и тяжело и хотелось столкновений, чтобы проверить свои силы. Но столкновений никаких не было. Была только скука и удручающее безобразие обстановки.

Маленькие башенные окна, низкий сводчатый потолок, кривые стены, не просыхающая даже летом сырость, спертый ужасный воздух, теснота... Женщины, молодые и старые, заперты сюда на многие годы, навсегда. Кроме грязной непосильной работы, их жизнь не заполнена ничем. Между собой они не связаны, отвлечься от действительности нечем. Прогулка в крошечном треугольном дворике, где нет ни кустика, ни травинки, ни веяния свежего воздуха в высоких стенах, никого не привлекает. Родные большею частью далеко, забыли, гнушаются, не пишут и ничем не помогают материально. Единственная радость этой живой могилы — «крутеж». Где-то при проходе мимо мужского корпуса, под взглядами сопровождающего надзирателя, завязываются через окна романы, совершенно платонические, но питающие воображение и потребность в нежности отверженных волею людей.

Шли дни, все одинаковые, как капли воды, и всё более и более возмущающие и неприемлемые. Утром зевающий надзиратель пересчитывал нас в постелях и, едва одевшись, женщины шли на работу. Даже утренний кипяток они пили в прачечной. Камера пустела до обеда. В обед они возвращались усталые, с мокрыми подолами, пахнущие мылом и грязным бельем, наспех ели какой-то чёрный вонючий суп, казавшийся помоями даже после новинской, далеко не питательной баланды, и отдыхали на отстегнутых для отдыха койках, как убитые. Через час снова уходили до вечера. Вечером сушили портянки, юбки, распялив их на койках и скамейках, пили кипяток с чёрным, скверным хлебом, иногда лакомились собственной селёдкой и чаем, чинили «барахло», переругивались из-за «крутельщиков», играли по углам в запрещённые, невероятно засаленные карты. На вечерней поверке — грубейшая шутка распущенного надзирателя, и подобоострастный смех заключённых. Приходила ночь. Тускло горела лампа в железной клетке, изо всех щелей выползали клопы. Камера засыпала в смрадном удушливом воздухе тяжёлым сном.

В нескольких шагах от нас жила шумной жизнью летнего вечера Москва: иногда сквозь открытые щелеобразные башенные окна доносился трамвайный звонок, над головами гуляющих, верно, горели звезды, цвели деревья в садах, играла на бульварах музыка.

В борьбе с клопами я долго прислушивалась к сонным вздохам, вскрикиваниям, храпу, и наконец засыпала сама.

Никакого участия в общекамерной жизни, в вечерних разговорах и перебранках, в «крутеже» не принимала Маруся Ш-ва (21), молоденькая девушка с умным, интеллигентным лицом. Она почему-то на работу не ходила и целый день сидела у стола, уткнувшись в одну точку. Она вяло хлебала в обед чёрную баланду, вяло ходила вдоль стены на прогулки, в глазах у неё было не горе, не тоска, а какое-то брезгливое безразличие, поражавшее на юном лице. Она, видно, ни о чём не мечтала, решительно ни на что не надеялась и, придавленная страшным несчастьем, жила по инерции, потому что не умела умереть. Её осудили на 20 лет каторги за экс, в котором она принимала случайное и косвенное участие. Она считалась уголовной. Её товарищи по делу, назвавшие себя анархистами, были казнены. На свидание к ней никто не приходил, передач она не получала, сжитья с сокамерницами не могла. Мне она казалась тогда погребённой безнадежно. Протянет год, другой и либо умрёт от истощения, либо наложит на себя руки, либо отупеет, сольётся с каторжной массой, развратится и опустится на самое тюремное дно (22). Случайность и бессмысленность этой гибели делали её особенно трагичной.

Прачки все же зарабатывали и имели удовольствие несколько раз в день пройти через ряд тюремных дворов из камеры в прачечную, завязать при этом знакомства, узнать тюремные новости — у других не было и этого; все же они страшно тяготились обстановкой, всегда бывали удручены, раздражены, голодны, и каждая мечтала об отправке в Сибирь, как о единственном выходе из этого адского существования.

О привольной жизни Нерчинской каторги складывались целые легенды, тем более что там для уголовных была «вольная команда» — вторую половину срока можно было при «хорошем поведении» отбывать за стенами тюрьмы, пользуясь относительной свободой. Там можно будет начать жить сначала, там есть надежда соединиться

со своим крутельщиком, завести семью, хозяйство. Об отправке в Сибирь гадали на картах, видели сны, молились богу...

Дни текли так медленно, будто время остановилось в нашей забытой богом и людьми башне, куда и тюремный начальник никогда не заглядывал.

Мне стало уже казаться, что меня забыли и потеряли в этом огромном, набитом всякими категориями арестантов тюремном лабиринте. Но пришёл, наконец, день — и меня в числе прочих отправляемых в этап вызвали в приёмную, обыскали, осмотрели, опросили и втокнули в ряды двинувшейся за ворота пёстрой шумной партии.

Среди провожавших родственников, толпившихся у ворот тюрьмы, я искала глазами свою мать. Её не было, и сиротливое детское чувство сжало сердце.

По приходе на вокзал грубо произвели посадку, распахав нас кое-как по вагонам. Конвойные преувеличенно волновались, кричали, махали шашками. Долго нас возили по всяким путям, заставили в тупик — опять приходили родственники. Конвойный офицер давал свидания, принимал передачи. Матери не было, и до самого третьего звонка я ждала и надеялась.

Должно быть, простой небрежностью следует объяснить то, что ей дали в тюрьме неверные сведения относительно моей отправки, указав неправильно вокзал и час отъезда. Мать узнала правду, лишь когда мы уехали, и с тем, что было на ней и у неё в кошельке, она кинулась догонять меня, надеясь застать на дневке в Самаре. Туда она приехала тоже слишком поздно и, совсем больная от пережитого волнения, вернулась в Петербург, так и не простившись со мною.

Партия ехала вольно. Главное ядро её составляли поляки, административно высылаемые в Челябинск. Польская молодёжь всевозможных партийных толков обратила вагон в шумный клуб: шли споры, разбирались с азартом какие-то старые конфликты, тюремные недоразумения, играли в шахматы, декламировали.

В Н. Новгороде нас пересадили на пароход.

Сверкающая Волга, луга, чайки, белые пароходы мелькнули лишь на минутку. Арестантская камера была в трюме. Там, плотно сбитые на нарах, мы могли видеть в иллюминаторы только бурлящую у парохода воду. Было очень досадно. Публика поворчала, повздорила с солдатами и снова принялась за дебаты и декламацию. Зато на прогулку нас выпустили как раз против Жигулей. Мы стояли на палубе, сбившись в проволочной клетке, отделявшей нас от борта и от вольной публики, и любовались берегами. Промелькнул Ставрополь, село Отважное — все места близко знакомые по революционной работе, исхоженные вдоль и поперек, Бахилова Поляна, где дедушка Лукич прятал оружие и скрывал гонимых революционеров: вот виден его домик, пасака, и даже трехногая собака Волчок прыгает на берегу... (23) Знакомые вершины, знакомые тропинки, ущелья; село Моркваша (24), известное по всей губернии своим революционным духом, с пустым учительским домиком на самом краю. Сёстры-учительницы давно где-то в ссылке (25).

Два года назад здесь везде кипела революция, пылали леса, пикеты, усадьбы, по деревням ходили крестьяне-книгоноши с революционными листками и книжками в сумках. Сейчас деревни казались притихшими, смирившимися, опустелыми. Сколько крестьян ушло отсюда в Сибирь на каторгу, сколько должно быть заколоченных изб...

В Самаре — днёвка: можно помыться, отдохнуть. Неожиданно вспыхивает, очевидно, разбуженное волжскими картинами, страстное желание бежать. Вся наладившаяся было тюремная психология, вся готовность года сидеть в тюрьме, учиться, забыть о воле, раз это нужно, разлетается в прах: тюрьма кажется невыносимой, немислимой, ужасной. Нужно идти туда — в знакомые избы, восстановить разрушенные связи, сделать одно, другое, третье... все кажется живым, близким, доступным, как мираж путнику в пустыне. Спешно строится в голове нереальный, нелепый план, делается попытка задержаться в тюрьме, снести с волей. Все, разумеется, кончается неудачей и жестоким разочарованием.

В Челябинске состав партии изменился почти целиком. Высадили административных, набрали ссыльно-поселенцев и каторжан. С новым конвоем резко изменился и вагонный режим: нависли целые облака площадной ругани, посыпались толчки, угрозы, и арестантская братия начала зорко караулить своих женщин от покушений конвоя. В душной тесноте вагона как бы два враждебных лагеря: у одного — закон, оружие, сила безнаказанности, произвола; у другого — кандалы, настороженная злоба, отчаяние и многочисленность. Сидим, не двигаясь: нельзя подойти к окну, пересесть на другое место, пройти без спросу в уборную.

Моими соседями оказались крестьяне-аграрники Пензенской губ. — муж и жена Данилушкины (26). Его обвинили в убийстве урядника, — из толпы кидали камни, и суд определил, что именно его камень убил начальственное лицо. Его жена, пробывшая после убийства год на воле, исходившая все инстанции и выплакавшая все слёзы, была вызвана в суд как свидетельница; затем тут же была привлечена как сообщница, и теперь шла на каторгу; муж на 8 лет, она на 4 года.

Он был высокий, исхудалый, нервный человек, на которого год предварительного заключения и тяжкий неожиданный приговор наложили неизгладимую печать; он был раздражён и озлоблен. Она, хранившая следы былой красоты, очень моложавая мать шестерых детей, которые остались дома одни, ласково и кротко смотрела из-под косынки своими голубыми, как незабудки, глазами; в них отражались застенчивость и недоумение.

Муж страшно мучился вольным по отношению к женщинам поведением солдат и всю ночь, лежа на верхней полке, не спускал лихорадочных глаз с лежащей внизу жены. Та чувствовала его тревогу и украдкой кончиком косынки утирала слёзы. Действительно, в ночной духоте, при тусклом свете огарков, мерцающих в фонарях, над спящими арестантами нависал какой-то тяжёлый кошмар. Мы не чаяли, когда, наконец, сменится конвой. Поезд шёл страшно медленно, как товарный, подолгу останавливаясь в тупиках; в больших городах нас уводили на ночь в тюрьму.

Не то в Иркутске, не то в Красноярске я встретила в тюрьме несколько политических каторжанок, ждавших отправки. Тут же я впервые встретила Лию Борисовну Бронштейн, начальницу Нерчинской каторги (27), любимую и почитаемую всем нашим поколением политических каторжанок — общую нашу «тётушку» (28). Она поручила мне нарвать по дороге к Зерентую полевых цветов и передать их от её имени Егору Созонову (29). Это была после Новинок первая встреча со своими и первое влияние Нерчинской каторги.

В Иркутске к нам присоединилось четыре политических каторжанина, следовавших в Горный Зерентуй. Фамилии их я не помню. Двое были раскованы вследствие «болезни ног».

От Сретенска начинался пеший тракт, тот самый, что подробно описан Мельшиным в «Мире отверженных». Ничто в нём не изменилось с мельшинских времен: те же екатерининские персты в 750 сажен, те же полуразрушенные клоповники-этапки за забором из палей, те же специфические нравы.

Июльское солнце пекло по-забайкальски, обжигая кожу до волдырей. Мы шли степью и тайгой. Конвой, убедившись, что партия «порядочная», т. е. в ней нет никаких особо страшных преступников, что, по-видимому, опасаться бунтов и побегов не приходится, повёл нас без особой суровости, и за первые дни нашего тракта мы, действительно, отдохнули душой и телом от двадцатидвухдневного путешествия в вагоне.

Мы выходили на рассвете; последние звезды гасли на небе, и солнце поднималось из-за холмов на востоке. Степи оживлялись на наших глазах; быстро высыхала роса. И к полудню, отмахав больше полпути, мы делали привал где-нибудь у реки. Великолепный отдых на траве, иногда купанье; мужчины разводят костры, готовится нехитрое варево из принесенных крестьянами продуктов; пьем чай, угощаемся голубицей, набранной на дороге; засыпаем ненадолго — и, освеженные, снова пускаемся в дорогу. Все буквально ожило от воздуха, света, простора, которых лишены были уже многие месяцы и с которыми прощались теперь на многие годы, а некоторые — навсегда.

Тягостны были только короткие ночевки. По приходе — надо натаскать воды, вскипятить куб, подлечить натертые неудобной обувью и кандалами ноги. Клопы и теснота не сразу дадут уснуть, а чуть светает — надо вставать... в дороге мы были все время в полной власти конвоя со «старшим» во главе, и все наше благосостояние зависело от того, в каком настроении были солдаты и, главным образом, старший. Положение женщин (нас было трое: Данилушкина, пожилая Селифонтьевна — за поджог — и я), конечно, очень осложнялось, — особенно в тех этапках, где женщин помещали отдельно от мужчин и где нам много и основательно приходилось внушать солдатам, что мы «не такие», и с трудом отделяться от их ухаживаний. Обычно в женское помещение, в качестве «бесполоых» существ, подбрасывали «боящихся» или «боящихся», как их называли солдаты и арестанты. Это были легавые тюремные доносчики. Они б о я л с ь мести товарищей. В дороге их положение было очень опасно, и конвойным вменялось в обязанность беречь их и изолировать на ночь от остальных арестантов. В нашей партии их было двое. Это были каторжные вдвойне. Их презирало и третировало начальство, и со стороны арестантов они были обречены. Помню, при приеме партии офицером они бросились к его ногам, обнимая его сапоги. Он оттолкнул их ногой с отвращением. Когда их впускали к нам, они занимали место где-нибудь в углу, всячески старались нам не мешать, непрерывно извинялись за беспокойство. Смотреть на них было невыносимо тяжело, но мысль об их гнусной роли не давала зародиться сочувствию. Под гнетом общего презрения они уже сами не считали себя людьми.

На третий день пути один из товарищей серьёзно заболел. До Зерентуя нельзя было мечтать о какой-либо медицинской помощи. Его везли на телеге, и он мучительно

страдал от жары, пыли и тряски. Второй шагал, бледный и хмурый, ни с кем не разговаривая, а остальные двое — рыжеволосый огромный дядя, которого звали Володя, и другой худенький, подвижной с фамилией на К. — были полны задора и бодрости и своими раскованными «больными» ногами уходили далеко вперед, рвали огромные охапки веток голубицы в придорожных кустах, боролись, смеялись, а на остановках, сидя спиной к остальным, внимательно изучали маленькую двухвёрстную карту местности, нарисованную на тончайшей папиросной бумаге. Они твердо решили бежать и ждали только удобного момента. Все их имущество состояло из трех рублей денег (к тому же неразменянных), иголки и этой маленькой карты. Знакомых ближе Иркутска не было, и успех побега был более чем сомнителен. Но Володя рассказывал, что ему случалось жить в этих краях, что он хорошо знает Байкал и горы, и был он силен, как медведь. Они надеялись прожить рыбой, ягодами и где-нибудь за работу сменить одежду. Все таежные участки были точно обозначены на карте.

Пошли дожди — забайкальские июльские ливни, обращающие ручьи в бурные глубокие потоки и заливающие дороги. Путь шёл все время в гору; мы безмерно уставали, вытаскивая при каждом шаге ноги из грязи, промокшие до костей, шагая почти без отдыха с утра до ночи. Нельзя было уберечь от воды даже табак и спички.

Солдатам было не легче. Они проклинали Забайкалье, нас, собственную собачью долю. Жизнь конвоиров была, действительно, немногим легче каторжной. Обречённые прожить года в страшной глуши, провожая взад и вперед партии, вечно настроенные и озлобленные против арестантов (за побеги строго отвечал караул), они ждали конца службы с не меньшим нетерпением, чем каторжник ждет конца своего тюремного срока, и утешались лишь повальным пьянством, картежом, развратом на всех стоянках с уголовными женщинами, с деревенскими девицами. По ночам, когда партия тяжело спала после дневного перехода, солдаты, разогретые водкой, в помещении, отделенном от нас досчатой перегородкой, устраивали настоящие оргии, после которых отсыпались днем на телегах, предназначенных для вещей и отдыха арестантов. Молодые, нетронутые деревенские парни через год конвойной службы становились неузнаваемыми. Но попадались и в этой развращающей обстановке крепкие, все выдерживавшие натуры, застрахованные от грязи мечтой о возвращении в родную деревню, иногда — мыслью об оставленной семье, влиянием хорошей прочитанной книги и знакомства с проходившими этапом политическими. Такие всегда льнули к политике, бывали мягче с арестантами, старались меньше браниться и сохранить человеческое достоинство.

На последней днёвке нас принял довольно приличный конвой. Несколько солдат постарше задавали тон. Осенью кончался срок их службы, и предстояло возвращение в деревню домой. О революционном движении в России они знали только со слов политических. Вопросы политики их сейчас живо интересовали. Особенно запомнились мне искреннейшие разговоры с маленьким веснушчатый солдатиком Шарковым. Он братски заботливо относился ко мне, жалостливо вздыхал над моей молодостью и наконец, собравшись с духом, попросил рассказать ему «программку». Целыми днями он обмозговывал новые мысли, задавая время от времени тот или иной вопрос, и решил записать названия книжек, которые достанет, когда вернется домой. С этим «домой» у него связывалась перспектива необычайного благополучия

и радости. Всё его некрасивое, славное лицо освещалось при мысли о том, что он наконец уедет из этой проклятой страны, от этой собачьей службы.

Вчуже становилось радостно за него.

Другой — Петров — с умным открытым лицом, какой-то весь чистенький и изящный, был много сознательнее, кое-что читал и даже определил себя как социал-демократа. К политическим он относился с огромным уважением, помнил имена многих прошедших с ним каторжан и, улыбаясь, говорил, что, может быть, и сам когда-нибудь пойдёт под конвоем по этой дороге.

Настал, наконец, ясный день. Солнце жарило с утра, и от одежды, не просохшей за ночь, валил пар. Грязь затвердела кочками. На следующий день к вечеру мы должны были быть в Зерентуе.

Местность была особенно хороша в этот день, небо особенно чистое; листья и травы блестели.

Володя и К. заметно волновались. К вечеру на пути — последний участок тайги. Завтра пойдет сплошная степь... На привале, лежа в высокой траве, мы тихонько обсуждали в десятый раз шансы побега. Их было так мало, что, казалось, ребята колеблются, и, когда мы двинулись, я была убеждена, что они не решатся.

После привала мы сразу почти вошли в лес. Здесь часто бывали побеги, — солдаты насторожились. Дорога — узкая, идем по четверо в ряд, в плотном кольце солдат. Кругом обступил густой молодняк — не продерёшься.

Партия, которой передается напряжение солдат, шагает молча, только кандалы звенят. Проходит версты три-четыре. На дороге пестрым ковром расселась целая стая бабочек... Они, очевидно, ищут влаги в не совсем ещё просохшей земле. При нашем приближении они вспархивают, поднимаются облачком, садятся нам на плечи, на лицо. Все смеются, отмахиваясь. Идем дальше; настороженность конвойных начинает ослабевать, некоторые из них отстают, садятся на телеги. И вдруг две белые фигуры отделяются от рядов и, прорвав кольцо караула, кидаются в зеленую стену и исчезают из глаз. Секунд десять партия продолжает идти по инерции, как будто ничего не случилось; потом так же внезапно и беззвучно отделяются от цепи несколько человек и ныряют в кусты. Громовое «партия стой!», и мы замерли, сгрудившись в жалкой, испуганной куче. Кругом — бледные, исполненные ужаса лица арестантов, ещё более бледные до неузнаваемости лица солдат... и гробовое молчание с обеих сторон.

К. меньше ростом, его не видать. Володина же белая фуражка, которую он не догадался сбросить, мелькает в зелени кустов и служит прекрасной мишенью... Первый же выстрел уложил его на месте. Его вытащили на дорогу. Мускулистое большое тело, за несколько секунд перед этим полное жизни, лежало под жаркими лучами. Раны не было видно, — только рубашка на плечах была забрызгана кровью, и мухи сразу тут же насели на кровавые пятна.

С час продолжались поиски К. Потные, бледные солдаты с искаженными испугом и злобой лицами один за другим возвращались из тайги.

Володю взвалили на телегу, и в хмуром угрожающем молчании мы тронулись к этапке. Чтобы наверстать время, приходилось почти бежать, и, когда мы пришли, уже зажглись на небе звезды.

Нас втиснули в маленькое помещение — мужчин и женщин вместе — поставили огромную парашу; загремел засов. Разматывая портянки, перевязывая тряпками потертые ноги, голодные, переволновавшиеся арестанты перекидывались вполголоса короткими, мрачными фразами. Все сходились на том, что на следующий день, а может быть, и сегодня ночью нам предстоит жестокое избиение.

Солдаты, чтобы не нести ответственности за бежавших, могут представить дело в виде всеобщего бунта, во время которого удалось скрыться лишь одному. Приводились в пример аналогичные истории. Завтра могут быть раненные и убитые. Что бить и гнать нас будут нещадно, не сомневался никто... «И чтоб эта сволочь, политические, не смели рассуждать, — подчиняться беспрекословно — иначе всем крышка», — в этом замечании был опыт и верный инстинкт самосохранения... «Из-за политики страдаем..., а тоже за народ стоят», — раздавались частью провокационные, частью искренние негодующие замечания. Но усталость брала своё, разговоры постепенно смолкали, и скоро слышалось уже только сонное дыхание да перешептывание сошвавшихся о чем-то конвойных... Володя лежит теперь, верно, под навесом, где дрова. К. пробирается, как затравленный зверь, по тайге... у кого из них была карта? У кого деньги? Что-то будет завтра?..

Среди ночи в наше помещение ворвались с грубой бранью и криками солдаты: Выходи, такие-сякие, с вещами во двор!

На дворе, в темноте безлунной ночи под звездным небом, производили обыск, сыпались удары, ругательства...

Заходи!..

Трудно было снова уснуть после этой встряски. На заре опять разбудили:

Ну, выходи, стройся!

И опять без еды, не умывшись, партия зашагала свой последний, — коротенький, к счастью, — станок.

Теперь уже все мечтали о тюрьме, как о безопасном убежище, — только добраться бы живыми.

Первый час шли бодро, быстро, с напряженными нервами, подгоняемые злоеющим молчанием солдат. Некоторые склонны были уже успокоиться насчет расправы, как откуда-то сзади раздалось неистово:

Гони их, сукиных детей, в болото!

Под свирепыми ударами прикладов партия свернула налево, в топкое, травянистое болото. Здесь каждый шаг стоил усилий. Ноги порой погружались по колено в черную грязь, снимались и увязали коты, за потерю которых арестанта ждали в тюрьме карцер, а может быть, и розги. Люди падали, спотыкались о кочки, а удары всё сыпались и сыпались. Солдаты разделились на 2 партии: одни отдыхали, шли по дороге, ехали на телегах; другие бежали рядом с нами по болоту и били, не жалея сил, били прикладами в спину, в шею, по ногам. Далеко отстали телеги с багажом, с рыдающими Селифантьевой и Данилушкиной, с безмолвным больным товарищем и отдыхающими солдатами. На все мольбы, призывы, убеждения женщин солдаты только грубо огрызались и вновь замахивались. Я смотрела на голубоглазого Шаркова, метавшегося с искажённым лицом и занесенной винтовкой, на изящного Петрова с социал-демократическим уклоном, дико выкрикивавшего какие-то ругательства,

и никак не могла соединить эти зверские лица со вчерашними — мягкими, полными достоинства и человечности.

Я попробовала заговорить с Шарковым, подойдя к телеге, когда он отдыхал после избивания.

Что вы делаете, разве вам не жалко людей? Чем они виноваты, что те бежали?

Вначале он как будто смирился и отвернул глаза, хмуро слушая мои увещания в течение нескольких минут.

А нас-то они пожалели? Нас-то за что? О нас-то они подумали, а тоже политики... Нам теперь дисциплинарный, а ведь думали д о м о й! — вдруг сорвалось с его уст, и померк вспыхнувший было сознательный и участливый свет глаз. Он кинулся с телеги и с новым остервенением стал опять бить, бить, бить...

Особенно помню фигуру пожилого высокого татарина; его почему-то били больше всех. После каждого удара в спину он падал с каким-то коротким кряканьем навзничь; его поднимали ударами сапога в лицо, и он снова бежал и снова падал. Многие были окровавлены, некоторые плевали кровью.

Наконец солдаты измучились. Мы снова вышли на дорогу, и вскоре был объявлен привал. Мы освежили лица, напились и легли на земле.

Второй кусок пути шли медленно, останавливаясь каждый час. Избитые сидели и лежали на телегах. Конвойные молчали и не глядели на нас и друг на друга, испытывая, видно, тяжелую реакцию после бешенства.

Наконец показался Горный Зерентуй (30), и через час мы вошли через широко распахнутые ворота тюрьмы во двор, где за столом сидело, приготовившись к приему, тюремное начальство.

Не знаю, в каком виде представил конвой дело начальству, но на заявление партии об избивании последовал только грозный окрик.

Нескольких человек пришлось сразу же положить в больницу.

Поручение «тетушки» о цветах для Созонова я вспомнила долго спустя.

Смертельно бледный Данилушкин простился с плачущей женой, и нас троих сейчас же повели с зерентуйским конвоем дальше — в Мальцевскую женскую тюрьму, по ту сторону сопки. Оставалось пять вёрст.

С верхушки горы увидели мы в ямке между сопки белый квадрат заплота и несколько серых деревянных домиков за ним. Это была Мальцевка (31). Уже с половины склона можно было разглядеть группы белых фигур во дворе, и вскоре оттуда замахали платками, узнав, очевидно, по блестящим на закатном солнце солдатским шашкам спускающуюся партию.

Это политика на кухонном крыльце встречает... Каждую среду вот так новых к себе ждут, — объяснил, добродушно улыбаясь, конвоир.

Через 10 минут предстояла встреча с товарищами. Тут были все те, которых мы, революционная студенческая молодежь, привыкли чтить и любить заочно, — террористки 1906–1907 гг., старые партийные работники, чью участь разделить казалось незаслуженной честью.

Мы все в Новинках были так молоды, и каждый из нас считал себя, да и был на самом деле, неопытным новичком в революции. На Нерчинской каторге — мужской и женской — были лучшие революционеры, на чьих примерах мы учились стой-

кости, преданности делу, чьи имена произносили с благоговением. Сердце билось взволнованно сильно, как перед экзаменом.

Данилушкина плакала.

Горы-то, горы, Иронька, куда же завезли нас, Господи?

Синие глаза смотрели вниз, как в могилу.

Мальцевская встретила нас запросто. Пока начальник, незлой и стесняющийся политических, Павловский (32), разглядывал наши документы, — к решетчатому окошечку ворот то и дело прикладывались чьи-то любопытные лица:

Политические есть? Как фамилия?

Без дальних церемоний нас впустили в калитку. Данилушкину и Селифантьеву надзирательница повела к уголовным, а я, не помню как, очутилась на скамье перед столом в 6-й камере, где были политические.

Кто-то ставил самовар, кто-то натягивал простыню-ширму, чтобы я могла помыться с дороги, тащили ванночку, доставали из каких-то мешочков и корзинок чистое белье. Сыпался град участливых вопросов, глядели ласковые любопытные глаза. Переход от грубых окриков, ругани, ударов, озверелых или окровавленных лиц к этой чистой обстановке нежности и заботы был так резок, что нервное напряжение последних дней прорвалось.

В воображении встало мертвое лицо Володи, фигура падающего татарина...

Товарища убили вчера, — могла только я вымолвить и закрыла лицо руками, чтобы не расплакаться. Самым малодушным образом.

Мальцевская женская каторжная тюрьма представляла собою одноэтажное деревянное здание, серое и длинное, как ящерица. Своими покривившимися стенами, развалившимся крыльцом, трубами и неровными окнами она выглядела каким-то заброшенным унылым бараком.

Внутри — длинный коридор, разделённый на две части всегда закрытой дверью; ближе к выходу — 3 камеры уголовных, в глубине — 3 камеры для политических.

Вследствие тесноты, уродства стен с бугорчатой штукатуркой, безобразных окон с черными покосившимися рамами и ржаными решетками, разнокалиберных громоздких деревянных кроватей, камеры являли вид весьма непривлекательный. В них не было ни казенного холодного порядка тюрьмы, ни уюта свободного человеческого жилья. Стремление заключённых к комфорту выражалось в том, что у каждой койки висела самодельная полочка для книг и стояла крошечная плетеная табуретка — вольнокомандцев. Сидя на такой табуретке, заключённые занимались у своих кроватей, обращенных при помощи фанерных досок в письменный стол.

Обедали за длинным столом, за неимением посуды — по несколько человек из одной миски.

И обстановка и питание были крайне убоги.

Первое время бывало трудно, но потом каждый привыкал и часто, выбелив стены, вымыв пол и повесив какую-нибудь яркую открытку у изголовья, мы чувствовали себя даже порядочно и уютно.

Обед — всегда один и тот же — состоял из картофельной баланды; на ужин давали гречневую кашу, иногда взамен ее — латышскую, или «голубую» кашу, названную так за пристрастие к ней товарищей латышек и голубой цвет, который она получала от

железного котла. Из хлеба мы приготавливали особые тончайшие сухари, заменявшие нам пирожное...

Периоды голодания чередовались с полосами относительной сытости, когда приходили посылки, делалась «выписка» на все разрешенные 4 р. 20 к., и дежурные прибавляли к казенному столу какие-нибудь овощи, картофель, кулагу, кашу. Для больных иногда покупалось молоко, мясо, масло; обычно же их питание сводилось к общему.

В общем, по сравнению с позднейшими акатуевскими годами, питание в Мальцевской было сносно, тем более что большая часть публики была молода и здорова и гналась, главным образом, за количеством, а не за качеством пищи.

Политических в момент моего приезда было 33 человека — «33 уroda», как мы называли себя шутя в честь нового нашумевшего тогда произведения З. Гиппиус (33).

Они жили по 8–10 человек в камере, размещаясь по желанию, выбирая себе наиболее подходящих товарищей и камерный уклад.

В шестой, куда я попала, жили в этот год наши две старушки — М. В. Окушко (34) и Т. С. Письменова (35) — и мать с 2-летним ребенком — Роза Майденберг (36). Это придавало камере семейный, домашний тон.

В четвёртой камере, самой светлой и чистой, всегда царили тишина, серьёзность и мир.

Зато средняя — пятая, самая тесная и неудобная, со вдоль и поперёк поставленными кроватями, с растянутыми на них вкривь и вкось суровыми простынями, которые отгораживали желавших уединиться от прочего суетного мира, — была «изюминкой» в нашем однообразном быту.

Здесь спорили, ссорились, мирились, вечно поднимали волнующие вопросы; отсюда шла беспощадная критика мальцевских авторитетов, здесь воздавались мальцевские депутации, произносились парадоксы, вокруг которых отчаянно дебатировала потом вся тюрьма, бичевались и жестоко высмеивались наши пороки. Это, одним словом, был центр нашей общественности. Состав камер часто менялся, но каким-то образом случалось, что общий тон, камерные традиции сохранялись те же.

Несколько человек жили в околотке. Это было небольшое на 4–5 одиночек строение; к нему примыкала аптека, обслуживаемая абсолютно невежественным ротным фельдшером, который безоговорочно признавал превосходство наших медицинских познаний.

В околотке жили больные — те, кому по тем или иным причинам тяжело было многолюдство и теснота общей камеры, кому необходимо было временно повесить питание, отдохнуть нервами. В одиночках жили по двое; с ними всегда бывал кто-нибудь из здоровых товарищей в качестве няни и уборщицы.

Первое время околоток был облечен для меня особенно привлекательной, немного таинственной дымкой. Лица, выглядывавшие из окон одиночек, казались особенно значительными, а жизнь, шедшая там, особенно углубленной и серьёзной.

Режима в тюрьме никакого не было. Запертые в своей половине, мы в ее пределах делали все, что хотели. Администрацию мы видели только на поверке; все неизбежные переговоры с нею у нас велись исключительно через политического ста-

росту, — персональных объяснений избегали даже в тех случаях, когда дело касалось отдельных лиц.

Этим достигалась большая выдержанность общей линии поведения с администрацией даже в мелочах и полнейшая в этом смысле организованность.

Но, в общем, недоразумений было мало. Высокие каменные стены с солидным караулом за ними и бесконечными горами кругом, 300 вёрст от железной дороги и наша «женская беспомощность» служили достаточной гарантией того, что мы не убежим, а это только и нужно было начальству в те годы. Связь наша с волей, выражавшаяся в переписке и посылках, регулировалась исключительно начальником тюрьмы и зависела от бесчисленных перемен этих начальников. В посылках мы получали почти все, что хотели и что имели возможность выслать нам родственники, — вплоть до фотографического аппарата, красок, музыкальных инструментов; переписываться же можно было лишь в пределах личного, абсолютно не касаясь общественных вопросов.

Первое время заключения всегда бывает самым тяжелым. Так и тут — после простора и движения дороги даже относительно свободное заключение чувствовалось каждым очень тяжело. Путь был кончен; напряженное ожидание нового сменилось мучительным чувством неприспособленности к заточению, невыносимым сознанием, что ничто не изменится теперь в течение долгого ряда лет, что внешних событий для нас не будет, и если жизнь цветет и шумит вдали, то до нас не долетит теперь ни один ее отголосок.

Весь мир заключен в четырех стенах. Надо суметь сделать его большим, содержательным, надо чем-то заменить широкие горизонты, деятельный простор, разнообразие знакомств и встреч. Отсутствие природы, общественной деятельности, борьбы надо компенсировать чем-то равным по значительности. Иначе жизнь и развитие пойдут назад, и выйдешь на волю духовным калекой. Почву для этой компенсации можно было найти только в среде товарищей и в мире книг. В течение многих лет этот двойной мир являлся неисчерпаемым источником жизни, радостей и заботы, но первое время приходилось либо бесконечно шагать во время прогулки вдоль каменного заплота, упорно вспоминая с необычайной яркостью выплывающие картины воли и природы, упорно мечтая о несбыточных побегах, либо писать и рвать длиннейшие письма друзьям на волю, либо решать одну за другой алгебраические и геометрические задачи, только чтобы не думать и как-нибудь убить время, а ночью видеть яркие, удивительно реальные, вольные сны...

Совершенно не верилось, что в таком однообразии можно прожить годы...

О мальцевской жизни писать трудно именно потому, что в ней решительно ничего не происходило. Обычно мы привыкли в описании тюрем царского режима выявлять ряд страшных эпизодов, резких конфликтов, образы мрачных тюремщиков, мученичества и героизма заключённых. Женская каторга лишена кровавого драматизма мужских тюрем, а наша Мальцевская, в частности, отличалась изумительно ровной, буквально ничем не волнуемой извне жизнью. Администрация, если и бывала тупа и раздражала мелочностью, то никогда не проявляла по отношению к нам особой жестокости; с надзором, представленным добродушными старухами, мы были в лучших отношениях и сами на каторге далеко не являли собою мученических, пора-

жающих воображение фигур. Поэтому интерес в содержании мальцевской жизни — исключительно психологический, при полном отсутствии фактов и новизны.

Новыми были только — новые прочитанные книги, новые мысли и изредка новое лицо, иногда малозаметное, иногда яркое, привлекающее все взоры.

Оригинальность и сила многих женских фигур проявлялись только в мелких штрихах внутрикамерных отношений, где характер человека выдерживал тысячи испытаний и выявлялся иногда больше, чем в крупных жертвах.

Когда-нибудь более умелой рукой будет зафиксирован ряд интереснейших образов женщин-революционерок, прошедших через Мальцевку, моя задача — дать только очерк нашей обстановки и рассказать, из чего сложилась жизнь нашего небольшого коллектива.

Пришла зима с ее жестокими холодами. Здание, полусгнившее, построенное из пористого лиственничного дерева, промерзло насквозь. Пролитая на пол вода замерзала тут же. Окна покрывались слоем льда толщиной в несколько пальцев; лед был на углях, под кроватями, по стенам. Печи старые, испорченные, едва согревали камеры до 0°, а остальное тепло мы нагоняли железной печкой, которую дежурная топила утром при вставании и вечером перед сном. Укрываться не хватало одежек. Мы жестоко мерзли ночью, мерзли днем, отогреваясь чаем (огромный ведерный самовар-«дяденька» кипел чуть ли не весь день) и беготней по двору во время прогулки на 40-градусном морозе или по промерзшему насквозь коридору, и, хотя мысли стыли в голове, все усердно занимались: кто — лежа в кровати под одеялом и бушлатом, кто — на своей скамеечке у кровати, кто — в ледяном коридоре, который во все времена года с утра обращался в настоящую школу.

В глубине коридора, около большого образа Николая Чудотворца, наряженного в выцветшую гирлянду из бумажных цветов, анатомичка препарирует где-то раздобытого голубя; рядом изучают ассирийскую древность, сличая Рагозину (37) с библейскими текстами. Дальше переводят «Жан-Кристофа» (38), решают задачи, пишут под диктовку, читают группами Тэйлора, Ноймайера (39), Дарвина. Группы меняются: переходят от одной учительницы к другой, по-иному группируются ученицы. Занятия систематизированы, часы строго рассчитаны, ни одна минута не пропадает, — разве забежит кто в камеру к «дяденьке» налить кружку горячего чая, когда уже очень проберет холод; так — до обеда. Обед съедается обычно стоя, наспех, к великому негодованию Марии Васильевны Окушко, которая в своих ежедневных «письмах к тетеньке» (на манер Щедрина) всячески высмеивала нашу учебную лихорадку и вредное для здоровья «мгновенное проглатывание пищи». Потом неистовая прогулка по бесснежному дворику, и вновь учение — вплоть до ужина.

После вечерней поверки в запертой на ночь камере строжайшая конституция предписывает абсолютное молчание, и каждый углубляется в своё дело, не тревожа соседей: тут и приготовление заданных учительницей на завтра уроков, и философия, и история, и перечитывание классиков, — только и слышен шелест страниц да скрип перьев.

Сосредоточенные укутанные фигуры вокруг стола, керосиновая лампа посередине... Часы идут. Мало-помалу редет круг читающих, стол пустеет. Огородив лампу, чтобы свет не мешал спящим, тесно прижавшись друг к другу для тепла, укутанные общим одеялом, два человека склонились над Герценом. Шептать нельзя — спят.

Чтобы поделиться мыслями, надо писать — длинный лист покрывается фразами, на бумаге разворачивается целый разговор. На дворе мороз, трещат бревна, пар от дыхания стоит в воздухе; страшно высунуть из-под одеяла согревшуюся руку, а голова так чудесно работает, столько ответных мыслей вспыхивает на каждой странице герценовской исповеди, и так радостно делиться ими с таким же возбужденным и так же наслаждающимся товарищем... В эти минуты мертвой тишины, оторвавшись от чтения, с необычайной отчетливостью чувствуешь расстояние, отделяющее тебя от живого мира, могильное молчание скованных морозом сопков, степей, тайги, всю страшную изолированность нашего крошечного мирка. Возбужденная мысль поглощает все существо целиком, и, когда приходишь в себя, часы показывают четыре. Утром первое смутное воспоминание чего-то хорошего, бывшего вчера: «Ах, да, Герцен»... А вечером думаешь: «А ведь предстоит Герцен»... После поверки добросовестно садишься расшифровывать авенариусовские (40) формулы, а когда все уснут, мы опять вдвоем за чудесной книгой. Наверное, только заключённые, погребённые в далекой, совсем изолированной тюрьме, знают всю настоящую цену книги.

Книги были, конечно, главным содержанием жизни, ее оправданием, смыслом, целью. Мы получали их в достаточном количестве с воли, главным образом — научные, и подобрали небольшую, но систематическую и ценную библиотечку по разным отраслям знания. Преобладали история и философия, и совершенно отсутствовали политические и экономические науки, строго запрещённые тюремными правилами. Заманчивые книги в ярких обложках 1905 г., попавшие в тюрьму во время свобод, были сложены в огромную корзину, принадлежавшую некогда Гершуни (41), с большой черной надписью «Гершуни» на крышке, и снесены в цейхгауз.

Редко попадала к нам и новая художественная литература. Классики, русские и иностранные, перечитывались и переживались заново (особенно Достоевский). Приходили альманахи — «Шиповник», «Земля», «Знание» и др. Был весь вышедший к тому времени Ромен Роллан по-французски.

Большую сенсацию производили всегда новые вещи Л. Андреева — «Проклятие зверя», «Мои записки», «Тьма». Вокруг них возникали горячие споры, высказывались с большим задором отчаянные ереси, заставлявшие правоверных перевооружаться, наново обдумывать принятые за аксиому верования, подыскивать более основательные аргументы к казавшимся неопровержимыми положениям.

В книгах открывался новый огромный мир идей, блестяще аргументировались и художественно развивались положения, противоречащие всему нашему складу мыслей, пестрели неразрешенные вопросы.

Для всех, кто начинал серьёзно заниматься и думать, ясной становилась необходимость пересмотреть весь свой духовный багаж, продумать все с самого начала и серьёзно и добросовестно, камень за камнем, воздвигать незыблемый фундамент для своего мировоззрения.

Все мы, молодежь, пошли в революцию, инстинктивно захваченные волною движения; на воле все теории складывались в голове наспех, для непосредственного практического применения; зачастую та или иная партийная принадлежность обуславливалась случайными знакомствами, влиянием друзей, ближайшей средой. В этом смысле наше поколение каторжанок, конечно, значительно отличалось от

прежних героических одиночек, которые с трудом, самостоятельно выбились на революционный путь, вопреки всему окружающему.

К чести нашей, однако, надо сказать, что мы глубоко сознавали свою неподготовленность. В высшей степени дурным тоном считалось какое-нибудь безапелляционное суждение. Малая его обоснованность сразу выводилась на чистую воду. В стремлении обосноваться, в умственных и моральных поисках выдвинута была вся артиллерия идеологических противников.

Прочитывались и изучались Ницше, Достоевский, библия, индусская философия, Вл. Соловьев, Метерлинк, Паскаль, сектанты, читали Льва Толстого, Мережковского. Все это было очень интересно, рисовало вещи с другой стороны и заставляло работать мысль. Только тот получал патент на право называть себя убежденным социалистом и атеистом, кто не споткнулся ни об один камень метафизики и, мало того, кто в личной жизни проводил принцип до конца, со всеми вытекающими из него последствиями.

Надо сказать, что серьёзное, почти порабощающее влияние из всего перечисленного имел только Достоевский, у которого были свои фанатики и который многим стоил бессонных ночей и внутренних драм. Но и Достоевский для каждой прошёл полосой. В общем же, конечно, господствовал позитивизм, стремление к положительным знаниям, добросовестная, беспретенциозная учеба. Надо было спешить узнать побольше, чтобы лучше, правильнее жить и бороться на воле. Это особенно относилось к малосрочным.

Насчет вопросов общежития, товарищеской и революционной морали тоже приходилось проверять себя с азбуки и практически разрешать проблему «личности и общества» в камерном быту.

Непрерывная в течение многих лет общая камера, необходимость быть всегда на людях, жить по регламенту, молчать и говорить не тогда, когда тебе этого хочется, а когда требует «конституция», т. е. устав жизни, принятый каждой камерой по общему соглашению, непрерывно, ежечасно подчинять свои желания общим, не давать воли настроениям, обуздывать для других самые невинные и элементарные потребности, — всё это порождало иногда инстинктивный протест в наиболее активных натурах. Человек раз в год пришёл в хорошее настроение: он весел, полон возбуждающих мыслей — хочется петь, болтать с товарищами, смеяться; но весь столь редкий и освежающий порыв замирает, гаснет в вынужденном молчании...

Две фигуры шепчутся в темном углу: чья-то одинокая душа раскрылась сегодня навстречу другой. Говорится так, как, может быть, не будет говориться больше никогда... И вдруг раздаётся упрёк занимающегося у стола:

Товарищи, конституция! Ваш шёпот не дает заниматься.

Сконфуженные собеседники расходятся.

С течением времени вырабатывалась, конечно, взаимная приспособляемость, и взаимоотношения личности и коллектива становились всё более гармоничными. Это происходило, главным образом, потому, что тюремная жизнь настраивала всех приблизительно на один и тот же лад молчаливости и сосредоточенности; вольные индивидуальные порывы становились всё более редки и никому не запрещались, — наоборот, приветствовались, как освежающая струя; это особенно относится к последнему акатуевскому периоду нашей жизни. В общем, можно констатировать, что тюрьма, общая камера почти во всех убивали непосредственность, тем более что

аналитический бес подвергал самому тщательному разбору и критике всякий шаг, всякий самый простой и естественный поступок товарища.

«Ты помогаешь мне в работе, уступаешь мне свой кусок — думаешь, хорошо делаешь? — А нет ли тут остатков гнилой, лицемерной филантропии, унижающей товарища, а может быть, и желания возвыситься в общем и своём собственном мнении? Почему же ты другому не позволяешь сделать для тебя того же? Значит, ты считаешь себя сильнее, выше, благороднее».

Слово было найдено, и всякое проявление добродетели клеймилось одно время словом «благородство», с соответствующими производными глаголами и прилагательными, произносимыми в презрительных кавычках. Наиболее задорные и прямолинейные для того чтобы ярче подчеркнуть своё презрение к «благородству», возводили в принцип и проявляли намеренное «неблагородство», что выходило очень забавно и никого не вводило в заблуждение относительно истинной подкладки того или иного поступка.

Всякое индивидуальное геройство, из ряда вон выходящий поступок, всякий признанный, окруженный ореолом подвиг вновь проверялся с точки зрения его чистоты. Не было ли в нем элемента тонкого тщеславия, какого-нибудь личного, весьма неуловимого и неосознанного мотива? Никакое имя, никакой авторитет не ускользали от анализа. Тут бывало много драм, разочарований, много произносилось неосторожных приговоров.

Во всем этом сказывался здоровый молодой задор, прямолинейность, страстность в поисках абсолютной моральной чистоты — и, с другой стороны, болезненное копание в себе, вызванное затворничеством.

Убивалась часто непосредственность, но зато никакой пошлости, самоуверенности, мелким самолюбиям, лицемерию не было жития в нашей маленькой общине. Она во многих из нас воспитала умственную добросовестность и критическое отношение к мнениям и людям, а также терпимость к чужому искреннему убеждению.

Коррективом к этому рационализму могла бы послужить работа, но ее, кроме самообслуживания, не было никакой.

Мы усердно мыли, скоблили, белили, устраивали грандиозные стирки, от которых с непривычки уставали до смерти, с увлечением дежурили, — но это, конечно, совершенно не могло удовлетворить нашей потребности в целесообразном, производительном труде и движении. Впоследствии мы были «вознаграждены» с избытком в этом отношении.

Второй половиной нашего мира были наши взаимоотношения. Интерес друг к другу не ослабевал, а, кажется, рос с годами, хотя состав заключённых менялся мало: 4–5 новеньких в год, а потом — и того меньше. А уж как мы ждали этих новеньких! Каждую среду с крыльца кухни, откуда видна была Зерентуйская дорога до самого верха горы, мы ждали по вечерам партию, и если судьба посылала нам нового человека, общая радость не знала пределов. Камеры спорили из-за удовольствия принять новичка у себя. Была даже установлена для справедливости очередь. Целый месяц новенькая бывала предметом самого назойливого внимания и любопытства. Она приносила нам «свежие» новости, которым бывало по много месяцев от роду, так как, прежде чем попасть к нам, нужно было вдоволь насидеться в разных пересылках и этапках; но все же только через новеньких нам удавалось получать кое-какие сведе-

ния о настроениях на воле, о партийной работе, о заключённых близких товарищах, о жизни в других тюрьмах. Кроме того, каждый новый человек был ценен сам по себе, вносил свою нотку в общую жизнь, обогащал её собою.

Партийный, социальный, даже национальный (русские, еврейки, латышки, грузинки, польки) состав заключённых был очень пёстрый.

Главное ядро у нас, как и по всей, впрочем, царской каторге, составляли с.-р.; за всё время перебивало человек 9–10 с.-д., вдвое больше анархисток, две максималистки. Надо сказать, что политические вопросы, могущие создать групповой и фракционный антагонизм в нашей среде, насколько я помню, не возбуждались вовсе.

Страшно обострившаяся на воле между с.-р. и с.-д. полемика по аграрному вопросу, в которой мы, конечно, тоже принимали горячее участие, когда были на воле, не поднималась у нас никогда, потому что общеупотребительная цепь аргументов, принятая с той и другой стороны во враждебных спорах, была слишком хорошо известна и давно исчерпана, а материала для серьёзного изучения вопроса у нас не было.

Вообще, легковесное оружие полемических уколов и передергиваний, такое употребительное в политической практике, было тогда противно. Политические разговоры тогда совсем смолкли, тем более что ни одна весточка с воли не питала их. Росла, углублялась ненависть к режиму; при каждой вести о каком-нибудь новом тюремном насилии крепла воля к будущей борьбе; конечно, только мыслью о ней стимулировалась жизнь, — но это было «подразумеваемое», о котором мало говорилось, как о само собою разумеющемся...

Общего в психическом укладе у всех нас было достаточно, и фракционность совсем не отразилась на внутренних отношениях и группировках заключённых.

То же можно сказать и о социальном составе тюрьмы, как ни был он разнообразен.

Общий быт, а главное — общая социалистическая идеология, совершенно нивелировали всех членов коммуны. Все остатки избалованности, барских привычек были окончательно забыты. Жизнь на принципах полнейшей социализации всего нашего имущества, где никто не знал и не интересовался тем, кто получает, кто не получает денег и посылок, где все шло в общий котел и бесконтрольное и полное распоряжение «экономического» старосты, не давала пищи никаким неловкостям и обидам. Та же социализация проводилась и в области духовных богатств. Книжки, конечно, являлись общим достоянием, без малейших отсюда отступлений. Общим достоянием должны были стать и знания, неравномерно распределенные на воле между нами. Те, кому в жизни посчастливилось получить их больше, отдавали большую часть своего времени на занятия с менее знающими.

Сколько я ни напрягаю память, я не вспоминаю в мальцевской, не говоря уже о дальнейшей акатуевской жизни, никаких шероховатостей на почве социального неравенства. В этом смысле наше общежитие представляло собой уголок будущей общественной жизни.

Эта почти полная свобода от обывательщины, абсолютное уничтожение всех общественных перегородок, разделявших людей на воле, расчистило почву для роста особенно чистых, близких товарищеских отношений на почве общих умственных интересов, увлечений, дружбы, горячей и серьёзной, которая редко расцветает на воле.

Насмешливый бес подобрался, конечно, и сюда, беззастенчиво высмеивая всякую тень сентиментальности, клеймя именем «мочальства» всякое выпячивание исключительных привязанностей в ущерб товариществу, коллективу, одергивая всякие чувствительные проявления. Ценность человека, как и ценность книги, бесконечно подчёркивалась тюрьмой. Сколько может дать человек человеку, удалось многим из нас изведать только благодаря каторге.

Как колючие кустарники в пустыне научаются извлекать необходимую влагу из песка и камней, так в психике долго сидящих в тюрьме людей вырабатывается способность извлекать красоту и гармонию там, где для вольного сытого взгляда они незаметны. Я помню, какое огромное наслаждение находили мы иногда в обыкновеннейших видовых открытках, как наслаждались, выделявая искусственные бумажные цветы, каждым удачным розаном, каким изумительно мелодичным казался звук задетой струны нашей полуигрушечной цитры. Там же, где к нам проникало действительно красивое — настоящие цветы, настоящая музыка, хорошая гравюра, — они действовали потрясающе, до боли.

Между ужином и поверкой мы обычно гуляли по запертому коридору. Не хотелось заходить в камеру, которую сейчас закроют на ночь. Эти сумеречные часы были всегда как-то особенно интимно окрашены. Тут завязывались самые интересные разговоры, лучше всего мечталось, думалось в одиночку. Иногда, очень редко, одна из наших, — единственная наша певица, — пела нам грустные и красивые вещи (42). У неё был удивительно красивый по тембру, сильный, полный страстной выразительности голос и исключительно хороший серьёзный репертуар. Иногда, вдохновленная нашим напряженным вниманием, сумерками, собственной тоской, она увлекалась сама и захватывала нас целиком. Резкий крик — «поверка!» — нарушал очарование. Песня обрывалась на полуслове. Это ощущалось каждый раз как оскорбление...

После бесконечной зимы приходила бурная забайкальская весна с её ветрами и журчанием весенних потоков, стекающих с гор. Высунешь ночью голову в форточку — и слушаешь-слушаешь шум падающих вод. Стечёт вода — начинаются пали. Крестьяне жгут прошлогоднюю траву, чтобы лучше росла новая. При этом, конечно, загораются кустарники и леса. Эффектные огненные ручьи бегут по сопкам, воздух наполняется ароматным дымом, и ночью луна багряно светит сквозь дымную завесу. Сначала горы одеваются нежно-голубым и лиловым ковром ургуя, потом вспыхивают розовыми цветами багульника. За ними чередой покрывают склоны красными и белыми пятнами «марьины коренья» (пионы), огненные саранки, лилии, и, наконец, осень одевает кусты и травы в свои цвета. Чередуются и запахи: нежный, бесподобный запах распускающихся лиственниц, смолистый запах багульника и пр. Так отгороженная от нас высокой стеной природа все же проникает к нам и держит нас звуками, красками, ароматами в курсе всех творящихся в степи и тайге дел...

Первые годы все это дразнило и мучило. Вернешься после прогулки в камеру, уткнешься носом в подушку — и долго приводишь свои чувства в порядок. Позднее все, что давала природа, воспринималось спокойно, благодарно... У себя во дворе мы тоже пытались завести «природу». Под окнами околотка был разбит маленький, но очень красивый цветник, из которого мы извлекали удовольствия не меньше, чем вольные люди из роскошных парков и цветущих садов. Цветник разрешили, зато каждая свободно выросшая на каменистой почве травка выскребалась беспо-

щадно, и двор был совершенно обнажен. Раз мы засеяли квадратную сажень рожью вперемежку с васильками и маком. Она пышно взошла и собиралась уже цвести. В одно прекрасное утро мы застали ее срытой, уничтоженной до основания. Также почему-то преследовались и животные. Поводилась было лазить через каменную канавку под заплотом голодная собака — но ее зарубили на наших глазах лопатами надзиратели. Она пришла с воли и казалась подозрительной.

Вообще, с воли никто к нам не приходил. Огромным поэтому событием бывали редчайшие приезды родных. С громадным трудом добывались разрешения въехать в район каторги, и, потратив массу усилий, проехав много тысяч вёрст, получали всего лишь 2–3 свидания матери, мужья, братья.

Через год после моего заключения приехала моя мать. Она поселилась в Александровском заводе (43) и приезжала за 20 вёрст каждое воскресенье, укутанная в несколько шуб, нагруженная передачей. Все приезжие делались общим достоянием. Вся тюрьма волновалась в ожидании гостей, вся тюрьма переживала впечатления свидания, мельчайшие подробности о которых передавались всем товарищам. Свидания происходили в крошечной привратничкой за воротами, в присутствии старшего или начальника тюрьмы, и содержание разговоров было строго ограничено «домашними делами». Общественных тем нельзя было касаться даже намеками.

Наша изоляция была бы ещё более полной, если бы не связь с Горным Зерентуем. Группа товарищей — первая шестёрка (44), сидевшая ещё вместе (6 месяцев) с мужчинами в Акатуе (45), и другие, имевшие там сопроцессников и знакомых, — вела с зерентуйцами интенсивную переписку через уголовных, и, конечно, известная доля этой переписки становилась общим достоянием. Мы всегда были в курсе зерентуйских дел, и бурной внутренней жизни, совсем не похожей на нашу, и всевозможных перипетий их внешней политики.

Иногда в переписке возбуждались теоретические споры, и я помню ряд писем Е. Созонова о савинковском «Коне бледном» (46), прочитанных вслух. В общем, если бы зерентуйцев перевели куда-нибудь, в нашей жизни сразу обнаружилась бы заметная пустота...

Под одной кровлей с нашей протекала совсем иная, мрачная, ничем не украшенная жизнь уголовных. По сравнению с Бутырской башней здесь был, конечно, рай. Работа — летом на огородах и в поле, зимой — вязанье варежек — была не слишком тяжёлой. Питание, скудное, правда, но все же здоровое, летом улучшалось, благодаря овощам и ягодам, которые женщины приносили из-за стен.

Но изоляция, которая переносилась нами сравнительно легко, для уголовных была худшей пыткой. «Завезли нас за высокие горы, и света божьего мы тут не видим», — писали тульские, рязанские, самарские крестьянки письма родным. Крестьянки, сосланные за убийство мужей, поджоги и всякие иные деревенские преступления, составляли 80 % и больше и определяли собой состав каторжной массы, а родные писали редко, забывали, как забывают покойника, и мало-помалу человек оставался один — без опоры, без надежды, выбитый из привычного уклада, ничем не утешаемый.

Стиснутые на нарах (в камере, кроме нар, не было никакой мебели), на 50 % больные — они жили только ожиданием писем, мыслями о покинутой семье, мечтой

о манифесте; затем либо озлоблялись и развращались под влиянием настоящих бывалых уголовных, либо смирялись в тупой покорности.

Об уголовной женской каторге, кажется, никто никогда не писал, а она представляет явление, заслуживающее внимания не только криминалиста, но, главным образом, как яркое отражение условий быта дореволюционной деревни. В Мальцевской были пожилые женщины, считавшие свою каторжную жизнь раем по сравнению с тем, как они жили на воле... Об уголовной каторге надо писать тому, кто хорошо знает её и сумеет передать весь её трагизм. Я упоминаю об уголовных лишь постольку, поскольку наши жизни, протекавшие рядом, не могли не соприкоснуться. Если бы не безусловное запрещение сношений между политиками и уголовными, которое проводилось у нас довольно строго, мы, конечно, проникли бы к ним с книгой и культурным влиянием, и это обогатило бы жизнь и их, и нашу.

Вначале возникла была школа грамоты; но она очень скоро была запрещена, и с тех пор наши отношения поневоле ограничивались филантропией.

Мы старались лечить их по мере сил и знаний, так как медицинской помощи для уголовных уж никакой не было: делали всякие массажи, компрессы и т. п. (выхлопывав соответствующее разрешение или пользуясь попустительством надзирательниц); старались материально помочь самым нуждающимся и больным, давали им бумагу и марки и всегда писали им (почти поголовно неграмотным) письма домой.

Все это делало нас по отношению к уголовным женщинам «барышнями» и «барынями», к которым они относились с деревенской почтительностью, благодарностью и ставили нас в фальшивое по отношению к ним положение. Это был как бы постоянный стыд нашей жизни, сознаваемый каждой из нас, но от которого уйти некуда было, так как это могло создать опасный прецедент в смысле уничтожения корпорации политических как таковых, что уже было проведено в российских централах и что в пору репрессий было впоследствии проведено и на Нерчинской каторге.

Если что и было серьёзного и ценного в этой области, так это работа А. Измайлович (47) с детьми, которую она вела при помощи одного товарища упорно и успешно в течение нескольких лет.

В первой «детской» камере было много ребят, начиная с грудных и кончая старшим дошкольным возрастом.

В спертom воздухе, обсыпанные насекомыми, вечно избитые, часто развращаемые чуть ли не с трехлетнего возраста, они копошились на нарах и под нарами, всем мешали, раздражали матерей, которые все горе и обиды срывали на них.

Конечно, большим и нужным делом было извлечь на свежий воздух этих малышей, придать им человеческий вид, накормить, занять, а старших научить грамоте.

Летом с раннего утра до вечерней поверки А. И., загорелая, как сапог, стриженная, в какой-то доисторической толстой юбке по колена, возилась на самом пекле со своей голой загорелой командой.

Цветник весь обрабатывался и поливался детскими руками. Играли в тени забора, купались в нагретой на солнце в деревянных ванночках воде, рылись в песке, делали гимнастику, слушали сказки, — словом, проводили время здорово и весело. Зимой дело было хуже. Старшенькие толкались у нас в коридоре с мешочками, где у каждого была азбука, а по воскресеньям очередная камера освобождалась под детские игры на целый день. Выносились койки, изгонялась публика, и камера обращалась в детский

сад. Происходило торжественное чаепитие с молоком и белым хлебом, пение, игры — и лишь к поверке они уходили в свою камеру, нагруженные кулечками с белым хлебом и сахаром. Два раза, тайно от начальника, нам удалось поставить спектакли: детский — басни в лицах, сценки, декламации — в уголовной камере, и спектакль для взрослых — у себя.

Спектакль состоял из ряда общепонятных сценок и Гоголя, и Островского. Сюда же наши артисты вставили «Смерть Оле» из Пер Гюнта (48); сюиту Грига исполняли голосом. К нашему общему удивлению, эту сцену заставили повторить, и часто уголовные вспоминали потом, «как мать умирает».

Из таких элементов складывалась наша жизнь. Чередовались полосы тоски и возбуждения, беспричинного ожидания хороших перемен и спокойного сознания предстоящей ещё долгой, долгой скуки.

Иногда всю тюрьму охватывала тревога за какого-нибудь серьезно заболевшего товарища.

Каких только болезней не было у нас: астма, эпилепсия, активный туберкулез, невралгия, слепота, острые желудочные заболевания. Врач Роголев (49) приезжал из Горного Зерентуя в очень редких случаях, и единственным медицинским работником была у нас наш же заключённый товарищ, фельдшерица Сарра Наумовна Данциг. Сама она умерла почти тотчас же после революции, возвратившись из Сибири, от запущенной в каторге тяжелой болезни.

Её благородный грустный облик запечатлелся в душе дорогим воспоминанием. Многим из нас она согрела и украсила жизнь тонкой добротой и нежной заботой. Совсем молодая ещё, она, благодаря сдержанности, степенности, казалась старше, чем была, а может быть, ещё и потому, что её отношения к товарищам бывали всегда окрашены материнским бескорыстием. Она никогда не говорила о себе, ничего не рассказывала о своей личной жизни, не упоминала о своей смертельной болезни и всегда была целиком отдана нуждам, недомоганию и горю других.

Её помощь всем казалась естественной, а ровное, разумное и мягкое отношение заставляло забывать, что она обречена. Только в области принципиальных вопросов, касавшихся революционной и тюремной морали, в ней проявлялась какая-то суровая нетерпимость.

Она не спорила, не убеждала, но резко рвала с самыми любимыми.

Несмотря на обилие больных, смертных случаев в Мальцевской среди нас не было.

Так невозмутимо дожили мы до осени 1910 г.

В ноябре тяжелой грозой пронеслись над Нерчинской каторгой зерентуйские события, унесшие Созонова и других товарищей.

О сгушавшихся над Горным Зерентуем тучах мы узнали от лечившихся в Зерентуйской больнице М. Ш. (50), переведённой туда для операции, и П. М. (51), которая жила с ней в качестве сестры милосердия. С ними мы вели всё время нелегальную переписку и от них узнали о предполагаемом приезде Высоцкого и о толках по этому поводу. Повевало недобрым — обычный ход жизни резко нарушился, все мысли в бессильной тревоге сосредоточились вокруг судьбы зерентуйцев. А там каждый шаг приносил новое, и по коротеньким записочкам Павлы видно было, что атмосфера сгустилась до предела.

После полученной утром записки об обходе Высоцким камер мы целый день ждали худшего, и действительно, к вечеру после проверки рука надзирательницы протянула в волчок смятую короткую записку, где уже перечислялись имена погибших.

Подробности катастрофы мы узнали позднее.

Что пережила вся тюрьма и каждый в отдельности, рассказать я не сумею. Это были очень страшные и очень тяжелые дни.

Первая мысль — мысль о протесте — отпадала сразу же. Достоинно реагировать на происшедшее можно было только массовым самоубийством, но после жертвы Созонова, резко оборвавшей издевательства, оно было бы практически бесцельным и только увеличило бы на радость правительству список выбывших из строя врагов.

Этот вопрос даже не обсуждался коллективно, но я ясно помню кем-то укоризненно произнесенную фразу — «Хороший памятник воздвигли бы мы им этой новой гекатомбой!», когда молодой товарищ заговорил о позоре жить после того, что произошло в Горном Зерентуе. В ещё только формировавшейся тогда молодой психике зерентуйские события оставили неизгладимый, выжженный след.

Весной прекратилось наше благополучное существование. В общей перетасовке заключённых, начавшейся после смерти Созонова, женщин весной перевели в Акатуй.

Романтическая мальцевская юность уступила место суровому трудовому и ещё гораздо более замкнутому акатуевскому совершеннолетию.

Дело Эйхгорна

...Когда Брестский мир был окончательно ратифицирован, началась, естественно, напряженная повстанческая борьба на всей территории оккупации. Особенно остро она протекала на Украине и в Белоруссии.

Характер этого движения, в силу сложившейся крайне неблагоприятной внешней обстановки, вскоре после своего начала стал видоизменяться. Партизанские отряды начали группироваться в мелкие трудноуловимые единицы; большие скопления сознательно избегались, и, главное, наряду с массовым действием всё больше и больше находил себе признание *индивидуальный террор*, направленный на особенно яркие фигуры буржуазно-феодальной реставрации, на особенно кровных её защитников из командного состава германских оккупационных войск.

Наряду с этим практиковались широко взрывы складов снаряжения, воинских поездов и т. д. Однако этому новому методу борьбы, поскольку он носил низовой стихийный характер, были поставлены пределы, которые перейти он органически был бессилён. *Центральные фигуры* буржуазно-классового террора, именно те лица, которые политически и морально были максимально ответственными за кровавые ужасы, на которых особенно четко фиксировались гнев и ненависть вновь поработанных крестьян и рабочих, были вне сферы их досягаемости.

Здесь требовался большой опыт, исключительная конспиративность, специальный подбор лиц, большие технические, материальные и организационные средства. Всем этим могла располагать лишь революционно-социалистическая партия.

Естественно, что перед партией левых соц.-рев. актуально стал в это время вопрос о террористической борьбе. Как центральным комитетом партии, так и состоявшимся партийным съездом он был санкционирован (52). В порядок дня стала задача создания при ЦК боевой организации и намерение лиц, на которых в первую голову должна обрушиться карающая рука террора. Этот последний вопрос оказался сложнее, чем мог казаться с первого взгляда. Как строго последовательная интернационалистская партия, партия лев. соц.-рев. (инт.) считала в равной мере ответственными за империалистическую войну и русское самодержавие, и германское имперское правительство, и правительство финансовой плутократии Франции и Англии. Никаких национальных «предпочтений» она здесь не делала. И поскольку германский империализм подвизался на поле исторической брани с англо-французским, у партии, естественно, не было никаких данных выделять его носителей. Свой долг интернациональной солидарности она выполняла, ведя непримиримую борьбу со своими национальными империалистическими кастами и классами. Принципиально иначе стал вопрос в перспективе русского и международного социалистического движения, когда германская империалистическая клика, по сговору с украинской, белорусской и просто русской буржуазией, двинула свои войска на территорию социалистической революции и взяла на себя задачу реставрации буржуазно-феодальных отношений.

Здесь именно она выступила в роли жандарма буржуазного общества и своими штыками прокладывала дорогу к экономической и политической власти сброшенным с исторической арены капиталистическим классам.

Граф Мирбах (53) в Москве и фельдмаршал Эйхгорн (54) в Киеве — вот две фигуры, которые приковали к себе внимание всех трудящихся России.

Первый — сложными путями дипломатического давления готовил переворот, второй — его провел кровью и железом.

Но над ними вырисовывалась провиденциальная фигура их повелителя и монарха — германского кайзера Вильгельма (55). Учитывая возможный резонанс не только в пределах революционной России, но и далеко за её пределами, по всей территории, где борется труд с капиталом, партия левых соц.-рев. не могла решиться на такой ответственный шаг, не узнав предварительно мнения западноевропейских товарищей и в первую голову мнения германских революционных социалистов. В зависимости от их оценки революционного значения такого акта была поставлена и попытка его осуществления. Ответ был дан отрицательный, и центр. комитет остановился лишь на Эйхгорне, а затем, когда Боевая организация уже находилась на месте и готовила со дня на день свой удар, и на Мирбахе. Второй акт, в силу случайного стечения обстоятельств, предшествовал первому.

Время для полного исторического освещения кровавых эпизодов великого борец трудящихся за светлое царство социализма ещё не наступило.

В этой работе следует видеть лишь то, что в ней есть: личные воспоминания одного из действующих лиц на арене той террористической борьбы, которую вела партия левых социалистов-революционеров (интернационалистов).

Боевая организация партии левых с.-револ. (интернационалистов) сконструировалась вначале из трех человек. Туда вошли тов. Смолянский (56), занимавший в то время ответственный советский пост (57); тов. Борис Донской, кронштадтский матрос, пользовавшийся доверием в глазах товарищей, большой любовью и уважением, и я. Мы, все трое, до этого принимали деятельное участие в работе партии, и лишь с большим трудом нам удалось освободиться для боевого дела.

Тов. Смолянский был делегирован центральным комитетом партии за границу, для того чтобы узнать очень ценное для нас мнение германских социалистов относительно значения намеченных партией террористических покушений. Поездка эта описана им в № 1-м журнала «Борьба» (изд. лев. соц.-рев. интернационалистов, Киев, 1919 г.). Донской и я взяли на себя задачу подготовить технику дела.

Время отсутствия Смолянского мы с Борисом решили использовать для поездки в Севастополь, где нам представлялась возможность ознакомиться с техникой взрывчатых веществ и приобрести кое-какие сведения и связи, необходимые для нашей работы. Во время этой трёхнедельной поездки мне пришлось близко наблюдать Донского, и то впечатление, которое составилось о нем у всех нас, знавших его по питерской и кронштадтской работе, укрепилось во мне окончательно. Это было впечатление сильной воли, серьёзного тихого мужества и тонкой, нежной, детски-жизнерадостной душевной организации.

До 15 лет он прожил в семье, в родной рязанской деревне, под крылышком сильно любившей, «жалевшей его», как он говорил, матери. Отец, кажется, старовер (58), вносил во всю семейную жизнь ригористические моральные правила и требовал

во внешней обстановке благообразия и чистоты. Мать смягчала суровость мягкой нежностью и лаской. Борис был её младшим любимым сыном, сам страстно любил её и навсегда сохранил к ней эту свою детскую привязанность. Он кончил сельскую школу и пытался заняться самообразованием. В деревне дело шло туго, но когда его отправили в Петербург на завод — книги стали доступнее. Первые годы своей Питерской жизни Борис увлекался толстовством (о Толстом он слышал ещё в деревне) и, уже участвуя в политических рабочих кружках, долго ещё исповедовал толстовские убеждения. При мобилизации рабочих он был зачислен во 2-й балтийский флотский экипаж. На судне «Азия» (59) Донской уже вёл партийную эсеровскую работу, организовал ряд матросских протестов и был на дурном счету у начальства, которое, хотя и преследовало его мелкими уколами, всё же считалось с ним, как с влиятельным среди матросов и бесстрашным человеком.

В последний год перед революцией жизнь в Кронштадте была невероятно тяжела. Адмирал Вирен (60), впоследствии казнённый матросами, ввёл в крепости чисто каторжный режим. Нельзя было свободнодохнуть, обращение начальства с подчиненными было невыносимое. С большим страданием Борис вспоминал, как однажды его били ремнем по лицу за недостаточно почтительный тон. За организацию голодовки-протеста он наконец был арестован. Грозиласуровая расправа, но тут, как раз, революция освободила его из тюрьмы.

Он сразу развернул свои силы и страстно отдался революционной деятельности, примкнув к левому крылу партии социалистов-революционеров, а затем, в октябре 1917 года, после раскола, стал активным работником партии левых социалистов-революционеров. С первых же дней Октябрьской революции он был членом Кронштадтского комитета партии лев. с.-р. и исполнительного комитета Кронштадтского совета. Он пользовался громадной популярностью в Кронштадте, и матросская масса постоянно выдвигала его во все тяжелые и ответственные минуты на передовые роли. Партия ценила в нём крупного массового работника, обаятельного, редкой душевной чистоты человека и драгоценного товарища. Он остался у всех в памяти светлый, торопливый, с весело озабоченным лицом, освещённым огромными серозелеными глазами, глядевшими внимательно, с трогательной доверчивостью, прямо в душу.

Когда подбирался состав нашей боевой группы, мы со Смоленским первого вспомнили Донского. Он откликнулся с огромной готовностью, быстро ликвидировал свои кронштадтские и партийные дела — и вот уже мы едем с ним в поезде по бесконечным донецким степям, и он, мало видевший на своём веку, жадно со свежей любознательностью смотрит на развертывающийся перед ним ландшафт, а вечером и ночью при тусклом свете вагонного фонаря, забравшись на верхнюю полку, читает взятые в дорогу книги. Удивляла в нём эта всегда пробуждённая любознательность. Тут в вагоне он как бы непрерывно учился, торопясь наверстать потерянное в заводской работе и в притупляющей обстановке военной службы время. Впоследствии эта черта его выступила ещё ярче, когда в дни самой напряженной, нервы изматывающей работы по технической подготовке акта он задавал какие-нибудь самые отвлеченные, не относящиеся к делу вопросы, разыскивал по библиотекам и магазинам какую-нибудь нужную ему книгу. Он часто говорил, что первый раз в жизни имеет время для чтения.

Наш поезд продвигался по полуразрушенному после калединских (61) боев пути с бесконечными задержками, и до Севастополя нам добраться не удалось, так как он оказался уже отрезанным немцами. Мы остановились в Таганроге, где в это время усиленно работала по подготовке обороны наша партийная организация (62) и находились многие члены украинской Цикуки (63), бежавшей из Харькова... Целыми днями в небольшом дворе дома, занимаемого партийным комитетом, шло военное обучение молодежи, притекавшей из деревень и станиц, с раннего утра скрипели телеги, подвозившие повстанцев, продовольствие для боевых отрядов и возвращавшиеся по станицам с грузом газет и партийной литературы.

Дня через 4 после нашего приезда в комитет явилась делегация от рабочих Юзовских (64) и Макеевских шахт, настоятельно требовавшая приезда в Каменноугольный район партийных работников. Со дня на день там ждали немцев. Уже был сдан и горел Екатеринослав (65); циркулировали слухи о массовых расправах победителей над мирным рабочим населением. Донецкие шахтеры, только что пережившие ужасы калединского налета, и слышать не хотели о сдаче. Они заготавливали динамит и оружие, посылали на фронт боевые дружины, верили в возможность отразить наступление и возмущались бездеятельностью, распущенностью и вялостью военных властей. Но поток партизанских отрядов, направлявшийся на фронт, наткнулся на встречный поток панического, беспорядочного отступления красноармейских частей; и в то время как рабочие, полные неисчерпаемой ещё революционной энергии, деятельно готовили оборону — было в глаза полное отсутствие воли к сопротивлению со стороны власти наряду с безответственным хозяйничаньем военных штабов, совершенно игнорировавших советы и рабочие организации. Вся двусмысленность позиции, занятой большевиками в деле обороны от немцев — правительственные листки, призывающие к сопротивлению и провоцирующие рабочих на борьбу, с одной стороны, паника и пассивность, с другой, — ставила рабочих в отчаянное положение. Не знали, что делать: сдаваться или бороться, бежать в другие неугрожаемые районы или оставаться. Во всём чувствовалась ложь, парализовавшая действие; опускались руки у самых активных.

Каменноугольному району предстояло, очевидно, надолго быть оторванным от центра, долго жить особой мучительной жизнью «оккупации»; местной партийной организации предстояло выдерживать неопределенное время самостоятельно тяжёлую борьбу в условиях глубокого подполья. Необходимо было ехать немедленно, чтобы успеть объехать ряд наиболее значительных шахт, помочь партийным организациям поставить работу по-новому, связаться так, чтобы не растерять друг друга, несмотря на фронты и границы. Немцы продвигались быстро. В военном поезде тов. Мстиславского (66), который пытался среди общей дезорганизации внести какую-нибудь планомерность в оборону, мы добрались до Дебальцева, а оттуда всякими правдами и неправдами, с ежечасными пересадками и задержками, до Макеевки, куда приехали глубокой ночью. С утра начались митинги на ближайших рудниках и заводах. С июля месяца, со времени Керенского, рабочие не имели никакой политической информации (огромный район был в этом отношении совершенно заброшен), и на нас, как на приехавших из центра работников, сосредоточилось все внимание. Митинги устраивались под навесами колоссальных сталелитейных заводов или у самого спуска в шахту. Из-под земли вылезали бледные, изнуренные люди с печаль-

тью мучительного беспокойства на лицах и жадно ловили каждое слово бодрости и надежды, засыпали градом вопросов: где предел отступлению, каковы условия Брестского мира и будут ли эти условия соблюдаться большевиками, скоро ли будет революция в Германии, сдадут ли Петроград, останутся ли для подпольной работы в оккупированной области социалисты... — и ряд вопросов чисто местного значения, связанных главным образом с многочисленными конфликтами, возникавшими между рабочими организациями и военными властями. И таких конфликтов было множество, и вражда между рабочими и штабистами, разжигаемая картинками безудержного разложения верхов армии, усиливалась с каждым днём. Кто главнее: совет или военный комиссар, имеет ли право штаб расстреливать рабочих за оскорбление армии (один рабочий, член завкома, был приговорен к расстрелу за то, что назвал поведение красноармейцев, растаскивающих заводское добро, «хулиганским»), кто уплатит рабочим жалование, не полученное за 3 месяца; кого нужно эвакуировать в первую голову: раненых или правительственных чиновников с их семьями. Последний вопрос был вызван безобразными и зачастую драматическими сценами, разыгрывавшимися на железнодорожных станциях, где раненые солдаты и семьи убитых на фронте рабочих ждали неделями возможности выехать в безопасные места. Нередко перед утомленной ожиданием толпой мелькал, не останавливаясь, ярко освещённый штабной поезд: из окон выглядывали головы нарядных сестёр, слышались звуки граммофона, на площадках стояли парочки. Если такому поезду случалось останавливаться, комендант его яростно отмахивался от мигом обступившей его толпы, отрывисто давал приказания раболепному начальнику станции; мигом прицеплялся новый паровоз, и поезд мчался дальше, оставляя плачущих и проклинающих людей. Я видела раз, как на ступеньках такого запертого вагона, в виде особой милости, разрешили примоститься раненому красноармейцу с раздробленной кистью руки на грязной, пропитанной кровью повязке.

Все это наблюдалось рабочими, и ощущение какого-то непонятого предательства, сознание бесполезности и безнадёжности оборонительной борьбы зарождалось у многих. «Эти удерут, — говорили рабочие, — придут немцы, и мы их сами — своими средствами». Крепче спаивались наиболее сознательные и стойкие в подпольные боевые группы, и особенную значительность приняли наши антибрестские лозунги, наша тактика подпольной борьбы, наши призывы к самодеятельности и солидарности, и индивидуальному героизму.

Сосредоточенно слушавшие толпы рабочих после митинга не расходились, а передвигались вместе с нами к следующему пункту и с одинаковым жадным вниманием прослушивали второй митинг. Так и переходили мы со все растущей толпой с места на место.

Мёртвый ландшафт, прокопченная и покрытая угольной пылью убогая растительность, тяжелый воздух, огромные сооружения заводов и домн, весь ад подземной работы и измученные тревогой толпы людей, страстно рвущихся к освобождению и вынужденных хоронить уже, казалось, готовую осуществиться мечту о человеческой жизни, — все это давало цельное, неизгладимое впечатление. Я думаю, что в эти дни окончательно созрела воля и решимость Донского. Картины Макеевки и Юзовки никогда впоследствии не выходили у него из головы, и все 4 месяца, которые ему пришлось после этого прожить на белом свете, он постоянно возвращался к воспоми-

нениям о поездке. Ему много пришлось выступать. Он говорил простым задушевым языком, умно и содержательно, и всегда чётко оттенял интернационалистическую позицию партии в дни борьбы против немцев. Он беседовал часами с толпой и всегда как бы что-то обещал ей, обещал за себя, за партию, обещал бороться рядом, не уходить, отдать силы и жизнь. Впечатление от его слов всегда было значительным — ему верили и верили партии, от лица которой он говорил, и отряды и отдельные члены которой всюду в первых рядах бились на фронте. Когда нам на обратном пути, в поисках лазейки, приходилось метаться взад и вперед по многочисленным железнодорожным веткам каменноугольного бассейна, нам передавали встречавшиеся знакомые рабочие о планах и надеждах, зародившихся и обсуждавшихся «на земле и под землей» в связи с новым освещением вопроса о борьбе.

Через неделю мы решили начать пробираться обратно в Москву, чтобы не быть окончательно отрезанными. Поезд Мстиславского, с которым мы условились вернуться, потерял нас. Мы пробовали проехать по разным направлениям и наконец прорвались на каком-то паровозе через Лиски за несколько часов до занятия их немцами, и затем, с большим опозданием, прибыли в Москву. Здесь как раз происходил 2-й съезд партии (67), между прочим, вынесший постановление о применении партией интернационального террора.

Немного спустя вернулся Смоленский. В результате его заграничной поездки (68) явилось полное убеждение в необходимости направить первый удар Боевой организации партии лев. соц.-рев. против Эйхгорна, генерал-фельдмаршала германских войск, рвавших на части Украину, огнем и железом усмирявших восстания крестьян и рабочих и возродивших на Украине гетманское самодержавие.

Эйхгорн обрисовывался в глазах трудящихся Украины и России как главный палач и душитель трудового крестьянства. По приезде своём на Украину он жестоко расправился с русскими пленными солдатами, которых посылал в рядах своих войск усмирять украинскую революцию. За их отказ — расстреливал и вешал на крестах и виселицах. На полях доклада об усмирении крестьян в одном из уездов, где было положено 8500 человек, где в одном только селе было 17 виселиц и крестьяне стояли в хвосте, ожидая очереди быть повешенными, Эйхгорн написал: «Хорошо». Железнодорожная забастовка была подавлена им жестокими арестами и расстрелами. За короткое время своего командования и властвования на Украине он покрыл богатую, цветущую страну виселицами и неубранными трупами.

Начались переговоры с некоторыми членами украинского центрального комитета партии, находившимися в то время в Москве, относительно совместного выполнения этого акта. Решено было провести его от имени обоих центральных комитетов: московского и украинского, но окончательная санкция пленума украинского центрального комитета должна была быть получена лишь позднее, так как не было возможности теперь же снестись с его членами, находившимися в Одессе.

Московская Боевая организация давала трёх человек: Б. Донского, Гр. Смоленского и меня, украинцы, со своей стороны, ввели к нам Марусю Залужную (69), Ивана Бондарчука (70) и ещё двух товарищей — Гришу и Миколу, предназначавшихся главным образом для покушения на гетмана Скоропадского (71), которое мы хотели соединить с покушением на Эйхгорна. Маруся Залужная предназначалась главным образом для связи с киевской партийной организацией. Она должна была уехать

вперед, приготовить нам пристанище на первое время и известить нас о положении в Киеве. На неё можно было положиться вполне, и в лучшие руки мы не могли отдать судьбу своих первых шагов на Украине. Человек с большим партийным опытом, выдержанная, серьёзная и страстно преданная делу социальной революции, — внешне она была изящной, миниатюрной женщиной, которая своим видом не внушала подозрения опытным агентам охраны.

Бондарчук, работавший впоследствии с нами под фамилией Собченко, был старым партийным работником, отбывшим 10 лет ужасающей каторги, порядком расшатавшей его здоровье, человек серьёзный, преданный и упорный. По профессии рабочий-жестянщик, он подготовлял нам на нашей даче-лаборатории в Подосинках (станц. Николаевской ж.д. (72), около Москвы) всевозможные хитроумные оболочки для бомб различных систем. Его родная деревня на Украине была разорена и наполовину уничтожена немцами. Тесно связанный с украинским крестьянством, он жестоко страдал, читая в газетах о кровавых расправах, и нетерпеливо ждал отъезда.

Остальные два товарища — Гриша и Микола — производили неопределённое впечатление, держались несколько в стороне, но были, видимо, тоже одушевлены одной упорной мыслью — освободить Украину от гетманского засилья. Один из них — Микола — был тоже каторжанином. Нас всё время огорчала невозможность вовлечь их в круг создавшихся между нами тесных братских отношений.

В ожидании весточки от М. З. Борис ещё успел съездить в г. N, где партией организовывался (подпольно) склад взрывчатых веществ и оружия, а я — в Витебск, на съезд Советов (73).

Наконец, партийный товарищ, со всевозможными приключениями перебравшийся через фронт, привез нам письмо и ряд киевских адресов от Маруси, и в последних числах мая 1918 г. мы выехали в Киев впятером, снабженные взрывчатыми вещами, оружием, деньгами и маленьким паспортным бюро. Все это надо было провезти через границу и скрыть от глаза русских пограничных властей, среди которых процветал немецкий шпионаж. Борис Донской уехал вперед, чтобы организовать переезд границы. Необходимо было в Курске достать через местную партийную организацию именные пропуска на наши фальшивые паспорта, купить заранее билеты, чтобы нам как можно меньше быть на глазах у немецких и большевистских шпионов, которыми кишели все вокзалы от Курска до маленькой станции (название забыла), которая являлась границей русских и немецких владений. Приехав в Курск, мы получили из рук нарядного господина в пенсне и со стеком в руках, в котором мы сами едва узнали переодетого Бориса, билеты и документы и разместились в двух разных, уходящих один за другим к границе маленьких, неосвещённых, разбитых поездах. Чтобы избежать провала при обыске вещей, пришлось одеть на себя всю нелегальщину, которую мы везли, кроме паспортного бюро, заделанного в чемодан.

К границе двигалась преимущественно бежавшая от московского разгрома буржуазия. У каждого было что спрятать, и публика прибегала к самым хитроумным способам, чтобы провезти мимо красноармейцев и немецких солдат бриллианты, деньги, материи и проч.

В темную дождливую ночь мы подъехали к пограничной станции и, высадившись в открытом поле под проливным дождем, стали поджидать следующий поезд,

с которым должна была приехать вторая группа, состоявшая из трех товарищей украинцев.

В глубокой темноте двигалась вокруг остановившегося поезда высадившаяся публика. По ту сторону полотна виднелись телеги местных крестьян-извозчиков, которые за огромные цены брались перевозить через кордон на украинскую территорию. Разрешалось, по обоюдному сговору нашей и немецкой пограничной стражи, профильтрованной, опрошенной и обысканной публике двигаться в путь с рассветом. Мы мокли долгие часы в ожидании. Наши приличные дорожные костюмы получили весьма жалкий вид, и тревожило, что взрывчатые вещества, одетые прямо на тело, могли подмокнуть и испортиться.

Поезда подходили один за другим, а наших товарищей украинцев не было. На рассвете длинный обоз, телег в 300, двинулся к германской границе, и мы, подрядив подводу, принуждены были уехать, не дожидаясь товарищей. Место открытое, вязкая убийственная дорога, дождь то льет ручьями, то сеется мелкой пылью; ветер, бледный тусклый рассвет. Вереница уродливых экипажей; на них: согнувшиеся, промокшие и продрогшие, едва прикрытые крестьянскими рогожками люди, напуганные красноармейским обыском и трепещущие перед предстоящим немецким. Публика: частью спекулянты, частью обыватели, отрезанные фронтом от родных домов и теперь получившие возможность вернуться на родину, и вкрапленные, затертые в этой массе, несколько человек революционеров с агитационной литературой, оружием, деньгами, письмами, ответственными партийными поручениями, переправляющихся строго законспирированными на Украину для революционной работы. Кортёж двигался в глубоком молчании — лишь лошадей понукают возчики. На месте кордона сопровождающее нас русское начальство передает список переселенцев немецкому офицеру, и длинный обоз при свете хмурого раннего утра медленно дефилирует под недоверчивыми взглядами немецких часовых. Здесь бывает, что внезапно останавливают обоз, перерывают весь багаж, производят личные обыски, арестуют подозрительных... Уже совсем светло, ветер разгоняет облака, проглядывает солнце. Все в грязи, мокрые до нитки, но благополучно миновавшие главную заставу. Кругом уже все немецкое, и нам, отвыкшим, странно видеть вытянувшуюся солдатскую фигуру и маленьких деспотических, сердито волнующихся при посадке в вагоны публики, изумительно грубых немецких офицеров. Поезд отбыл со станции и прибыл в Киев пунктуально по расписанию. Безобразный киевский вокзал, который три дня мыли и скоблили от русской грязи специально согнанные женщины, весь оклеенный украинско-немецкими, непривычными глазу вывесками и объявлениями, кишит военными, шныряющими штатскими людьми. Каждый приезжий осматривается ими с головы до ног, и нам тоже приходится пройти под колючими взглядами немецких и гетманских шпионов. Многих пассажиров задержали и обыскали, мы проскользнули удачно, переоделись и, сдав часть багажа на хранение, приехали на двух извозчиках по указанному нам Марусей адресу. Бывает, что задерживают и на улице и обыскивают едущую с вокзала публику, — мы все время начеку.

Киев, весь залитый майским солнцем, весь в цветах и зелени, производит с первого взгляда очаровательное впечатление, а нарядная, довольная, будто праздничная толпа, блестящие витрины, переполненные кофейни представляют резкий контраст с голодной и холодной Москвой.

Здесь царство спасшихся от революции «сливок общества». Здесь живут светливой ненормальной жизнью, лихорадочно спекулируют, лихорадочно веселятся под защитой немецкого штыка, торопясь, пока можно, урвать свой «кусочек хлеба с маслом».

В уличной толпе мелькают немецкие офицерские мундиры, дружески смешавшиеся с украинскими жупанами гетманской гвардии и светлыми нарядами дам. Барышни дарят розы немецким часовым. В воздухе с утра до ночи раздаются солдатские немецкие и украинские песни; трещат барабаны, в садах гремит музыка.

Ровный, как стрела, прямой Крещатик упирается в купеческий сад. На площади цветочные клумбы, фонтаны, на столбе простая серая доска с указующей стрелкой: «Штаб фельдмаршала Эйхгорна». Надо подняться вдоль тенистого Мариинского парка по Александровской, войти в тихие, красивые улицы Липок. Там, в лучших особняках за колючими ограждениями, опутанные телеграфными проводами, защищенные стальным караулом, расположились немецкие военные власти. Тут же, в дружеском соседстве, — дворец Скоропадского.

После долгих поисков мы наконец к вечеру находим ночлег, возможность спрятать на время наш багаж и снять с себя зашитый в одежду динамит. В городе квартирный кризис питает обывательские разговоры и газетное остроумие, но нам везет.

Маруся подыскала заранее чудесную удобную дачку в совершенно заросшем глухом саду в Святошине (8 вёрст от Киева). На следующий день перебираемся туда втроём: Борис, Смолянский и я — и поселяемся в качестве родственников. Кроме того, нам приходится обзавестись двумя квартирами в городе и комнатой «на всякий случай» в Боярке. Мы покупаем извозчичью пролетку и лошадь, снимаем подходящий домик на Глубочице. Там поселяется легковой извозчик, Борис; он выезжает почти ежедневно на своей ленивой светлой лошадке, для поощрения которой никогда не решается употребить кнута. Во дворе этой извозчичьей избушки мы зарываем динамит и оружие; тут же устраиваем свою несложную лабораторию. В городе на Бибиковском бульваре у меня прекрасная комната, где я прописана как еврейка. Сюда, в качестве брата, заходит ко мне Григорий Бор., спекулирует по сахарину. Отношения с хозяйкой устанавливаются наилучшие. И она, так же как и все почти здесь, спекулирующая на сахарине, зачастую ставит Григория Бор. в очень тяжелое положение, расспрашивая его о ценах и разных спекулятивных делах, в которых тот буквально ничего не смыслит.

В Боярске у Гр. Бор. комната на даче; хозяйка — лавочница-еврейка снабжает его запрещённым к продаже спиртом и очень ценит в нем чистого, аккуратного квартиранта, который к тому же очень охотно болтает с ней на жаргоне о всевозможных близких её сердцу делах. Здесь Гр. Бор. значитесь выехавшим по делу на месяц в Киев, и квартира стоит пустая на всякий случай. Так и живем мы втроем сразу на четырёх квартирах, обслуживая их по очереди, объясняя любопытным хозяевам своё отсутствие в городе прогулками и поездками на дачу, а отсутствие на даче — службой и делами в городе.

Приблизительно через неделю приехал тов. Собченко. Своих спутников он как-то странно потерял в дороге. Им показалось, что за ними следят, они кинулись по разным направлениям и потеряли друг друга из виду. Так мы больше Гришу и Миколу и не видали. Взамен исчезнувших украинцев мы ввели в группу товарища Ч.

(74) горячо рекомендованным нам товарищем. Пробыв с нами недели две и войдя в курс всех наших дел, он внезапно объявил нам, что не согласен с технической постановкой дела, что совершенно не верит в его успех, а на следующий день распрощился с нами, мотивируя свой отказ от работы болезнью жены. Он оставил в нас какое-то тяжелое недоумение. Собченко поселяется один на Глуховке и живет как рабочий слесарь, оказывая нам вначале незначительные услуги, — лишь позднее он втянулся в активную работу. Устроившись с квартирами, мы приступили к слежке. Нас слишком мало. Сразу же перед нами вырисовываются все трудности установить образ жизни и выходы Эйхгорна. Правда, местная организация сообщает нам через посредство Маруси местоположение дома Эйхгорна, караульных помещений на Екатерининской улице и штаба, где бывает Эйхгорн, но район Липок так пустынен и так тщательно сохраняется контрразведкой и часовыми, что нам приходится быть крайне осторожными. Все методы, практиковавшиеся Боевой организацией партии соц.-рев. во времена царизма, оказываются совершенно неприменимыми. На Екатерининской ул., где живет Эйхгорн, нет разносчиков, нет магазинов, нет сдающихся квартир и комнат. Это сплошь военный лагерь с редкими, деловито торопливыми прохожими. Все дома здесь заняты под командование, у каждого подъезда стоит часовая, прогуливаются с зонтиками и в калошах в сухую погоду откровенно наглые шпионы. Каждый прохожий обращает на себя их подозрительное внимание.

Представляется возможность пройти вдоль улицы лишь один раз, второй приходится идти уже в обратном направлении, как бы возвращаясь. Чтобы иметь за улицей непрерывное наблюдение, мы все время сменяем друг друга, переодеваемся и даже перегримировываемся по нескольку раз в день, что значительно усложняет и затягивает дело... Наконец, случайно, в одну из своих прогулок по Екатерининской встречаюсь с генералом лицом к лицу, и вскоре удается установить окончательно часы его выхода из дома в штаб, находящийся за несколько домов от его дворца. Он выходит ровно в час, пешком, с тросточкой, в сопровождении адъютанта, небрежно козыряя взявшим на караул солдатам и встречным офицерам, абсолютно уверенный в своей безопасности среди этого леса охраняющих его штыков. Через три минуты он скрывается в дверях здания штаба, проходя сквозь коридор выстраивающихся у подъезда солдат. На улице так пустынно, что две небольшие фигуры заметно выделяются во всё время перехода и, пересекая дорогу, стоят изолированно и довольно незащитно для выстрела. На этом единственно удобном для акта моменте и было сосредоточено наше внимание. Трудность заключалась в невозможности останавливаться и выжидать. Необходимо было вполне естественно для постороннего взгляда, не ускоряя шага, встретиться с ним именно в этом пункте улицы. Для этого требовалось особо счастливое стечение обстоятельств. Впоследствии именно эта техническая трудность затянула дело на долгие дни.

Параллельно нами велась работа по слежке за Скоропадским (75), которая производилась преимущественно ночью. Прячась за густыми липами, мы с Гр. Бор. наблюдали, как после часа ночи к подъезду дворца подкатывали нарядные автомобили. По ярко освещённой лестнице спускались «придворные» гетмана в национальных костюмах и сам гетман, иногда в штатском, иногда в костюме простого казака. Вся эта компания ехала веселиться через Голосеевский лес в загородный женский монастырь. Обстановка представлялась удобной. Несколько раз удавалось нам видеть

гетмана при приёме им дворцового караула и на парадах. Но мы ни в каком случае не хотели, чтобы покушение на гетмана предшествовало покушению на Эйхгорна. Нам совершенно очевидно казалось, что гибель гетмана так встревожит немцев, что Эйхгорн станет совершенно недоступным. Мы завели знакомство с дворцовой прислугой и узнали многое важное для нас о внутренней жизни и расположении комнат дворца.

Слежка, переодевания, заботы о лошади и квартирах, извозчицьи выезды Бориса, изготовление снарядов, ежедневные поездки с дачи в город — заполняли все время. Мы видели лишь друг друга, сознательно, из конспиративных соображений, изолируясь от местной партийной организации, с которой продолжали держать связь, после отъезда Маруси, через члена украинск. центральный комитет тов. Терлецкого (76), привезшего нам из Одессы санкцию украинского центрального комитета. Хотя в Москве мы всячески старались как можно конспиративнее обставить свой отъезд, — все же через неделю уже по нашем приезде местные эсеры передали нам, что о нас знает украинское правительство, что мы выслежены из Москвы, что нас усиленно ищут, и настойчиво советовали уехать.

Мы решили остаться и лишь особенно тщательно изолироваться от всех знакомых и напряженно следить за своею безопасностью.

Внезапно Эйхгорн уезжает в Крым: добытые с таким трудом результаты слежки могут оказаться погибшими. Переносим поле действия на вокзал и следим по газетам, когда он вернется. В намеченный день всем составом с четырьмя снарядами мы занимаем посты. Газеты обманули. Эйхгорн приехал накануне, и нам приходится снова и уже окончательно утвердиться на первоначальном плане — застигнуть его при переходе из дома в штаб или обратно.

Началось самое трудное время. В колоссальном нервном напряжении, с запавшими глазами и какой-то особой, впервые появившейся у него, мучительной и вместе твердой складкой у рта, вдохновенно сосредоточенный, ежедневно убивая и отдавая свою жизнь, ежедневно прощаясь с близкими и вольным миром, уходил от нас Донской на свой жуткий подвиг. Мы провожали его до угла, виделись с ним во время часового перерыва, когда Эйхгорн был в штабе, и ждали, когда он вновь уходил от нас, звука взрыва — окончательного удара по врагу. Он возвращался потрясенный и смущенный неудачей и рассказывал нам, как загородила ему дорогу случайная извозчицья пролетка, как дети, играя, пробежали слишком близко к генералу, как не удалась сама встреча. Однажды, в благоприятную минуту, он уже схватился за снаряд, как вдруг с него соскочила плохо завинченная крышка и покатилась к ногам Эйхгорна. Борис нагнулся, поднял крышку и с деловым видом стал привинчивать ее на глазах у всех к своему снаряду-термосу, — не возбудив ни в ком подозрения. Тщательно все время сменялся грим и костюм. Бориса раз сменил, тоже неудачно, другой товарищ. Он, видимо, уставал, но упорно, со спокойным мужеством, совершенно детской простотой и не угасающим в глазах огнем шёл на своё дело, в которое верил свято и до конца.

Все ночи мы проводили в нашей святошинской дачке; шли дожди. Мы тушили свечу, чтобы не возбуждать внимания соседей поздним светом, и просиживали втроём до утра, — и после короткого сна снова на паровичке отправлялись в город.

В эти дни мы с «Гуком» (так звали мы тов. Собченко) и Гр. Бор. пытались наладить все необходимое для побега Бориса после акта. Нам хотелось предложить ему готовый, выработанный и технически обставленный план, чтобы не заставлять его думать о нем, не тратить на это лишние силы. Предполагалось бросить бомбу с рысака и, воспользовавшись сумятицей, спуститься вдоль монастырских садов по направлению к Печерску; на полдороге бросить лошадь и садами пробраться к Днепру, и затем на лодке — в Слободку, и ускользнуть, таким образом, от всякой погони. Приготовили лошадь, необходимый грим, предусмотрели все случайности, но долго не решались предложить Борису наш план. Дело в том, что нами всеми было решено при самом начале, что мы должны вложить в акт максимум агитационного содержания. Для этого важно было, чтобы был процесс, чтобы террорист назвал себя, объяснив всему миру смысл своего поступка, и своею гибелью запечатлеть правоту и святость своей идеи. Борис, кроме этих политических соображений, вносил в понимание дела свою особенную окраску. Не из книг, не под чужим внушением, а исключительно из собственного существа он почерпнул своё идеалистическое и глубоко серьёзное представление о терроре. «Если пшеничное зерно, упавши на землю, не умрёт, то останется одно, — повторял он евангельскую метафору, — а если умрёт, то принесёт много плода». Счастьем светились его глаза от сознания, что он кладет свою лепту на дело освобождения, счастьем было для него отдать свою молодую, полную возможностей жизнь — но глубоко трагична была для него необходимость убить человека. Если бы не было возможности своей смертью и муками искупить то аморальное, что было для него в самом убийстве, — он, может быть, не смог бы его совершить. Мы знали все это, много говорили с ним на эту тему в последние наши ночи в Святошине, — но нам казалось необходимым всё же дать ему возможность отступления, если в последнюю минуту его решение хоть сколько-нибудь поколеблется. Как мы и ждали, Борис отверг наш план и отнёсся ко всем соображениям о самосохранении с таким глубоким отвращением, что мы устыдились своих забот о нем. Все мысли о себе у него кончались с выполнением акта. Лишь бы удалось, а там не мое дело, дальше — верно будет хорошо. Он писал в последние дни матери: «Благослови меня, мама, и не жалея меня: мне хорошо, будто в синее небо смотрю». Эти письма попали не к матери, в Рязанскую губернию, а к немецким следователям, которые глубоко недоумевали, как мог сын просить у матери благословения на убийство.

30 июля, около часу дня, мы расстались с ним, как обычно, на углу Лютеранской. Через четверть часа он вернулся, не встретив Эйхгорна. После долгой полосы дождливых дней выглянуло солнышко — деревья бульваров стояли омытые и душистые. Мы порадовались прояснившейся погоде, побеседовали и хотели проститься опять, как вдруг подошёл какой-то назойливый господин и долго и подробно стал расспрашивать о том, как пройти к губернаторскому дому. Борис, следивший за часовой стрелкой, резко повернулся и, не пожав нам даже руки, быстро поднялся к Екатерининской. Через пять минут раздался сильный взрыв.

Была ли это случайность — бомба могла взорваться в руках Бориса, от неосторожного толчка, — был ли убит Эйхгорн, — мы не знали, но оба с товарищем осознали с несомненностью одно: Бориса больше не будет — и сказали это друг другу. Вслед за этим сознанием — мучительная и жгучая тревога о результатах взрыва.

Сошли к Крещатику и снова поднялись гуляющей парочкой к Липкам; навстречу уже валила толпа. Липки были оцеплены войском, никого не пускали ни туда, ни оттуда; долетали фразы: «Убит главнокомандующий, адъютант», «Убит адъютант, генерал легко ранен, убийца расстрелян»...

В Ботаническом саду на коре каштанового дерева мы вырезали потом крест — условный знак партийным товарищам, что дело выполнено нашей рукой («конкурентами» нам могли явиться местные соц.-рев.), сели на извозчика и приехали в Святошино ждать вечерних газет, слухов и готовить второе дело, которое мы надеялись осуществить в ближайшие дни.

Вечерние газеты принесли нам известие, что убийца назвал себя, что фельдмаршал, которому взрывом оторвало ногу, при смерти; Скоропадский при нем, адъютант скончался (77); на улице арестовано несколько человек, и в том числе извозчик, на которого вскочил убийца, спасаясь от погони. Утренние газеты сообщили о смерти Эйхгорна, некоторые дополнительные сведения о личности Бориса; о панихидах и похоронах, и потом ни слова ни вечером, ни на следующий день.

Город был в панике: циркулировали слухи о том, что Киев окружен немецкими войсками; что готовится карательный обстрел города германской артиллерией, шли массовые аресты, и к скрытому торжеству обывателя, который ненавидел немцев, примешивался дикий страх за могущие быть последствия. В городе, на базарных площадях, куда съезжалось население ближайших деревень, в рабочих кругах шло нескрываемое ликование, «Теперь очередь за гетманом», — говорили вслух на улицах и приписывали акт «московским товарищам», которые все могут и все сделают, чтобы избавить рабочих и крестьян от кровавого гнёта.

День похорон Эйхгорна был назначен на 1 августа. Нам было известно, что гетман будет присутствовать на торжественной панихиде. Мы решили приурочить исполнение второго акта к моменту выхода гетмана из лютеранской церкви (78) после панихиды.

30 июля прошло в лихорадочной работе — нужно было ликвидировать квартиру Бориса, приготовить спешно два больших снаряда, снестись с местной организацией по поводу выпуска прокламаций, освещающих смысл событий. В свои квартиры мы заходить не решались и ночевали в лесу под морозящим дождем. Вечером я заметила у своей городской квартиры каких-то подозрительных людей и узнала об аресте девушки Маргариты, адрес которой был дан нам из Москвы, и с которой мы давно никакого дела не имели. На Глубочице тоже стало неладно. Как раз в этот момент, когда мы с «Гуком» расположились изготавливать снаряды и разложили на столе все необходимое, у ворот нашей избушки раздался резкий звонок. Какой-то подозрительный субъект спрашивал, не продается ли дом, и потребовал, чтоб его пустили осмотреть его. Едва от него отделались. Мы все же решили оставить снаряды на этой квартире. На следующее утро «Гук», живший в городе, должен был взять их и принести в условленное место. Нервный и утомлённый последними тревожными днями, он ушёл домой в каком-то угнетённом состоянии, словно больной. В этот же день нам пришлось встретиться с одним товарищем, старым эсером, который знал о нашей террористической работе.

— Дали вы яда Донскому? — спросил он. — Ведь его, несомненно, будут пытаться.

По какому-то непростительному легкомыслию мы не дали Борису яду с собой; почему не подумали о возможных пытках, — я до сих пор понять не могу. Мы гордо ответили товарищу, что Борис — человек надежный, что никакими муками у него не вырвут лишних показаний, но с этих пор мысль, что его, несомненно, пытаются, приобрела силу уверенности и почему-то явилась лишним психологическим стимулом к лихорадочной и вдохновенной подготовке к новому делу.

Когда Борис уходил, он говорил, прощаясь: «Я знаю, я уверен, что вам удастся ваше дело; делайте скорее, чтобы я ещё узнал до казни».

Утро похорон мы приехали в городе на условленное место, куда «Гук» должен был принести снаряды. Он не явился. Спешно, на извозчике, я отправилась к нему на квартиру. Квартирная хозяйка встретила на пороге: «Уходите скорее, его ночью какие-то офицеры увезли на автомобиле и очень били». Кинулись обратно, зарядили новую бомбу, но опоздали к нужному времени. Дело откладывалось, по нашим расчетам, по крайней мере на месяц.

Поздно вечером провожали на вокзал труп Эйхгорна и его адъютанта. Бесконечное мрачное шествие, ряды серых стальных солдат провожали оба гроба. Казалось, за трупом своего генерала, закованное в сталь, залитое кровавым светом факелов, уходит из Киева навсегда насильническое войско.

На следующий день Гр. Бор. решил проведать свою квартиру в Боярке, она могла нам теперь очень пригодиться. Зайдя к своей квартирной хозяйке, в её лавочку, он узнал, что два дня тому назад его квартира была обокрадена, затем туда нагрянул обыск; хозяйке велено немедленно по его прибытии доложить в милицию. Гр. Бор. раскричался, возмущаясь обыском, произведенным в его отсутствие, и сделал вид, будто направляется в милицию для объяснений, а сам кинулся в лес. Агенты контрразведки, поджидавшие его приезда, организовали погоню по горячим следам. Он добрался до деревни и был привезен на возу под сеном каким-то крестьянином, угадавшим в нем революционера, в город... Я провела весь день, разгружая квартиру в Глубочище, и стояла у трамвайной остановки, ожидая партийного товарища, который должен был увести оттуда лошадь, как вдруг увидела проезжавшего на извозчике Гр. Бор. Он был в сильно помятом виде с былинками сена в волосах и на костюме. Мы условились вечером встретиться у городской квартиры, взять оттуда последние вещи и на ночь идти с Терлецким в Святошино, чтобы переговорить о дальнейшем.

Мы чувствовали, что висим на волоске, и решили, что Гриша поедет в Москву за подкреплением для организации второго дела, а я останусь в Киеве охранять материал, поддерживать завязанные знакомства и связи и по возможности продолжать слежку.

Взяв вечером чемодан с городской квартиры, мы отнесли его на квартиру одного знакомого меньшевика, который брался помочь Грише выехать наутро с пароходом из Киева. Ночью, по дороге в Святошино, мы встретились с товарищем из украинск. центр. комитета и втроем отправились на нашу дачу. Ночевать дальше в лесу не было возможности, мы устали, тело требовало отдыха, необходимо было взять все нужное для отъезда, как следует потолковать и сговориться о дальнейшем.

Была очень, очень темная ночь. В саду к нашему домику вела узкая глухая тропинка. Мы взялись за руки и гуськом, тихонько пробирались к дому. С внешней стороны

все было очень спокойно, но, подойдя уже вплотную к веранде, я увидела силуэт казака, сидящего на стуле у чайного стола. «Тут кто-то есть», — успела я крикнуть стоящим сзади товарищам и в ту же минуту, оглушенная пальбой из десяти винтовок, ослепленная светом электрического фонаря, направленного прямо на меня, принуждена была, зажав уши, прислониться к стене. На полу веранды, оказалось, лежали, притаившись, десять человек немецких солдат.

Увидев меня и услышав наши голоса, они открыли бешеную пальбу в упор, за три шага от нас, очевидно, с целью оглушить, ошеломить, но не убить. Минуты две продолжалась только пальба. Оглянулась — никого сзади меня. Пользуясь темнотой, товарищи моментально скрылись за углом дома в густом саду. Солдаты побоялись их преследовать, хотя Терлецкий, как оказалось, простоял около часа без движения, будучи не в состоянии двинуться, у забора сада. Гриша потерял шапку и дорожный несессер, в котором вделаны были письма Бориса к матери и товарищам и мои деловые записки в Москву, благополучно добежал до леса, спрятался от погони автомобилей, освещавших рефлексорами дорогу, в воде какого-то озера, и наконец, весь промокший, добрался к утру до Киева, участвовал в тушении пожара, который загорелся очень кстати до него на краю города, затем, вымазанный и мокрый, как человек, только что работавший на пожаре, спокойно прошёл по улицам в своё убежище и в тот же день счастливо уехал из Киева. Через несколько дней он уже был в Москве, где и сообщил товарищам о том, что с нами произошло, прибавив, что я, очевидно, убита при аресте.

Терлецкий, живший в Святошино, спокойно прошёл к себе домой. Немцы даже не знали, что нас в дачу приходило трое, и искали одного Смоленского. Контрразведке пришлось удовлетвориться одной мною. Так по делу Эйхгорна и фигурировали в качестве обвиняемых Борис Донской и я, в качестве его сообщницы. «Гуку», за недостатком улик, обвинения предъявлено не было.

Всю ночь казак, руководящий немецкими солдатами на засаде, развлекал меня рассказами о тех пытках, которые производились над Донским и тов. Собченко, а на рассвете два русских офицера немецкой контрразведки, цинично наглые и жестокие, приехали за мною и на автомобиле увезли в немецкую тюрьму, всю дорогу описывая и смакуя пытки над Борисом и Собченко и хвастаясь своим шерлокхолмством. «И ведь молчат, подлецы, как воды в рот набрали», — возмущались они. В немецкой тюрьме меня поместили в условия абсолютной изоляции. Я не видела никого, кроме насупленного, молчавшего часового и офицеров, которые то и дело на цыпочках подходили к глазку двери с любопытными и несколько удивлёнными лицами и скрывались бесшумно. Несколько раз вызывал на предварительный допрос немецкий следователь, а в ночь на 9 августа вызвали в контору тюрьмы агенты русской контрразведки... Дело почему-то затягивалось. Позднее я узнала, что ведший розыск офицер Беляев — главный истязатель Донского — уезжал разыскивать Смоленского, как ему казалось, по горячим следам, а в действительности в совершенно противоположную сторону. О Борисе я ничего не знала, и узнать не от кого было. Попыталась передать ему через тюремную администрацию немного денег. «Брат брату пожать руку хочет, — ответил насмешливо помощник коменданта тюрьмы, — куда ему, вопрос идёт лишь о нескольких днях жизни». Я представляла себе обоих

арестованных товарищей истерзанными, полумёртвыми от испытанных мучений, распротёртыми на тюремных койках в ожидании конца.

На второй день мне туго скрутили проволокой руки. На третью ночь в тюрьме много хлопали дверьми. Кричали какие-то властные и злые голоса, тащили по коридору что-то тяжелое, подъезжали к воротам тюрьмы хрипящие автомобили; в мою дверь то и дело заглядывал фельдфебель и что-то шептал часовому.

Девятого, после допроса, меня ночью перевели в другую камеру, в глухой, изолированный коридорчик с тремя одиночками; соседняя была пустая, а моя находилась в конце коридора, в самом углу.

Окно было так высоко, что я едва доставала рукой до подоконника. Ничего, кроме койки, без какого бы то ни было подобия постели, в камере не было. Мне снова скрутили проволокой руки, теперь уже назад, дали библию и ушли, оставив у дверей часового. Никакие звуки не доходили сюда и, должно быть, отсюда. Неожиданно получила я весть о Борисе. Привели ко мне в камеру рабочего, арестанта, вставить стекла в оконную раму; взглянув на мои скрученные руки, он шепнул: «Вы, верно, за генерала, как тот матрос, которого повесили в субботу». Часовой не мешал, я стала подробно расспрашивать и узнала подробности казни Бориса, узнала, что в ту тревожную ночь, когда много необычно шумели в тюрьме, — повесился в своей камере совершенно случайно арестованный на улице извозчик. Оказалось, что за пределами моего коридорчика тюремная жизнь текла довольно широко и свободно. Немецкие солдаты кричали, дрались и даже пороли иногда арестованных, а заключённые, большей частью крестьяне-повстанцы, донельзя изголодавшиеся, оторванные, потерявшие всякую связь со своими семьями, доведенные до отчаяния, отстаивали себе постоянным скандалом и криком кое-какие свободы. На общих была постоянная склока с начальством, но за деньги тем же начальством доставлялось заключённым вино, которым спаивался караул, давались свободно свидания, удавались побег.

Участь Бориса живо заинтересовала всю тюрьму. Немецкие солдаты тоже прониклись сочувствием к нему, и с содроганием передавались везде из уст в уста рассказы о пытках и истязаниях, которым его подвергнули. «Пострадал он за нас, — сказал мне стекольщик, — надо бы ему себя покончить тогда же, сколько он муки принял». Его казнили в субботу, 10 августа, в 4 часа дня, на площади, при большом стечении народа. Два часа висело на телеграфном столбе его тело с надписью: «Убийца фельдмаршала Эйхгорна».

Скоро у меня завязались длинные душевные беседы с караулящими меня немецкими солдатами, и от них я узнала подробности ареста Бориса и его мучений.

Привезя в тюрьму, его сразу же привязали к койке и начали пытаться, требуя выдать сообщников. Мучили три дня, сменяя друг друга; жгли, кололи, резали, засовывали под ногти булавки и гвозди, выдернули все ногти на ногах; 10-го его судили военнопольным судом тут же, в конторе тюрьмы, и в тот же день казнили.

Узнала я от тех же солдат, что через камеру от меня в том же коридоре сидит какой-то психически больной человек, который ничего не ест, не спит, разговаривает сам с собой, страшно много курит и ни за что не хочет выходить из камеры ни на справку, ни на допрос. Его каждый вечер на поверке бьют; до меня постоянно доносились его стоны, крик надзирателей и удары ременной пряжки о тело. Солдаты говорили мне, что его тоже пытали несколько ночей подряд, что он долго лежал прикрученный

провоолокой, прорезавшей до костей мускулы рук и ног; когда его отвязали, проявил все признаки помешательства. «Это, наверно, по вашему делу, — добавлял солдат, — так как следователь часто от вас идет прямо к нему». Мне удалось пробраться к двери больного товарища — это был неузнаваемый, страшно исхудалый, мертвенно-бледный «Гук». Он не узнал меня, грустно и укоризненно покачал головой и забился в угол своей камеры.

Дни шли за днями; верхушки акаций, видные из окна моей камеры, пожелтели, стало холоднее.

Однажды, около девяти часов вечера, явились ко мне в камеру несколько русских и немецких офицеров, между прочим, знаменитый в гетманской контрразведке деятель — палач с университетским образованием — поручик Беляев. Они наглухо закрыли мой коридор, увели куда-то товарища Собченко, удалили часового и приступили к допросу с пристрастием; допрос продолжался всю ночь. «Мы ничего не можем обнаружить в связи с вашим делом, — сказал Беляев, — несомненно, у вас были сообщники, несомненно, у вас в городе энное количество связей, дайте нам несколько адресов. Мы не уйдем отсюда, пока не получим их». Я доказывала контрразведке полную непричастность к делу товарища С., против которого не было никаких улик. «Вот относительно С. вы говорите определённую неправду, — резко сказал Беляев, — мы сейчас дадим вам очную ставку, посмотрим, что вы тогда скажете», — и пошептал что-то стоявшему у двери казаку. Тот побежал в контору и, вернувшись через минуту, заявил, что «вчера только освободился». Беляев досадливо выругался. Под утро они все-таки ушли, оставив меня в порядочно искалеченном состоянии, прикрученную к койке по рукам и ногам.

Часов в десять элегантный, раздушенный лейтенант, комендант тюрьмы, поставив колено на мою койку, доказывал мне целый час всю бесплодность террористических методов борьбы, ставя в пример геройский дух патриотичности немецких солдат, которые как один умирают за своего кайзера. «Вы подарите мне на память о вас это маленькое евангелие (Беляев принес и оставил у меня евангелие) и надпишите что-нибудь по-немецки; пока оставьте у себя, я его возьму, когда все будет кончено». Он разрешил отвязать меня от койки и привязывать лишь по ночам, что и производилось вплоть до суда.

Начались допросы. Впервые я увидела следователя по своему делу, полковника Гюбнера, маленького любезного человека с безукоризненными манерами и острыми глазами. Он приходил ко мне утром с писарем, со столом и стулом, и сидел до вечера с перерывом на обед. Не знаю, куда девались протоколы допросов, они были отосланы в ставку к кайзеру вместе с приговором. Спрашивалось не столько о деле, обстоятельства которого я могла изложить после казни Бориса и побега тов. Смолянского вполне свободно, — сколько о мотивах террористической борьбы, о партии левых эсеров, «об идеологии и психологии террора», о личности Бориса.

Гюбнер был образованный и «интересующийся» человек. Он симулировал полную непричастность к моим пыткам, велел снять проволоку с рук и ног и не привязывать больше к койке. «Вы, несомненно, получите смертный приговор, и мы вас расстреляем, но бить и истязать вас — незаконно, и это могут делать лишь русские варвары». Накануне суда был короткий допрос, следующего содержания: «Чувствуете ли вы раскаяние? Соответствует ли вполне сделанное вами политическим и нравственным

убеждениям? В случае неудачи Донского, согласны ли вы были взять это дело на себя?» Записал ответы и вышел, похлопав по папке рукой. «Ну, теперь все есть, что нужно».

Судили меня в конторе тюрьмы. Гюбнер откровенно добивался смертного приговора, казенный защитник что-то лепетал «об идеализме этих людей, которых нельзя рассматривать как обыкновенных убийц»; за окном, в квартире какого-то служащего, громко пел граммофон, на лицах судей были написаны тупость и равнодушие. Спорили о словах «помощница» или «сообщница», остановились на последнем, вынесли смертный приговор, исполнение которого задержалось за необходимостью утверждения его самим кайзером. «Повесить даму у нас не так легко», — заметил Гюбнер, сообщая мне приговор. Прошло полтора месяца, пока приговор съездил в Берлин, и мой полковник ждал ответа. Кайзер был в ставке. Происходили крупные политические события в Германии, и в конце ноября кайзер отрекся от престола, не успев дать санкции на казнь. «Гук» начал понемногу оправляться. Уже в конце сентября часовой передал мне его записку, где он спрашивал, какое число и день сегодня; а потом завязалась между нами переписка — и это скрасило и разнообразило жизнь нам обоим. «Гук» рассказал мне, что при аресте его сильно били, за волосы по лестнице приволокли в камеру Бориса. Тот лежал избитый, окровавленный на койке, он пытался что-то сказать, но губы шевелились беззвучно.

После приговора жизнь стала теплее и легче. Я получала множество мелких знаков внимания и сочувствия от заключенных, которым удавалось через часовых передавать то цветок, то записку, бумагу, карандаш; через уборную я завела переписку с общими камерами, написала друзьям на волю. Навещал полковник: «Надо ещё подождать, всё ещё нет ответа, я думаю, за это время вы перемените свои убеждения. Лучше в последнюю минуту понять истину, чем уйти в могилу в заблуждении». «Это большая честь, — о вас будет думать и знать сам кайзер». И когда я шутливо ответила ему при писце и часовых, что их кайзер мне мало импонирует, в ужасе замахал руками и поспешил увести солдат подальше от соблазна.

Приходили то и дело какие-то военные, чтобы посмотреть на «приговоренную русскую даму», задавали любопытные и наивные вопросы о моих религиозных и философских убеждениях. Как-то раз, с тоской и трепетом за нарушение военной дисциплины, подошёл к моему окошечку молодой немецкий офицер (как я узнала после — из мобилизованных народных учителей). «Фрейлен, как вы себя чувствуете? Я ничем не могу помочь вам, я маленький человек, но я крепко жму вам руку; оставайтесь верны своей идее — это лучший путь к счастью», — и скрылся торопливо. Я очень оценила эту своего рода «луковку» (79).

Лучшим другом мне был часовой — Отто. Сердечным ласковым взглядом встречал меня его единственный видный в дырочку двери глаз. Уходя с дежурства, он протягивал мне для пожатия палец. «Может быть, я не застаю уже вас, фрейлен, пусть вы все-таки пожмёте человеческую руку перед смертью», — и, возвращаясь, радовался, что ещё здесь.

Санитар, приставленный ко мне для услуг, который кормил меня с ложечки, когда у меня были связаны руки, приносил мне воду для умывания, мёл пол, видя, что не на шутку голодаю, стал приносить мне пищу из солдатского котла, часто приносил

газеты, немецкие и русские, и просиживал при хороших часовых целыми часами, обсуждая назревавшие политические события.

В Германии разразилась революция, на Украине поднялось могучее повстанческое движение. Петлюра надвигался с восставшими крестьянами на Киев против германских офицерских войск.

Немецкий совет не знал, к какому берегу пристать, и, преследуя цели скорейшей эвакуации своих войск, решил поддерживать того, кто сильнее: то гетмана, когда увеличивались его военные шансы, то Петлюру. Артиллерийская канонада грохотала вокруг Киева дни и ночи. Тюрьма, частью уже опустевшая, жила нервной бессонной жизнью. Над всеми висел страх, в случае поражения Петлюры, попасть от немцев в гетманскую тюрьму. Многих политических преступников немецкий Совет солдатских депутатов передавал украинскому правительству. Гетманская тюрьма для многих — вновь пытки, долгое сидение, расстрел или просто смерть в застенке. Приход Петлюры знаменовал свободу. В 15-х числах декабря бои завязались в самом Киеве — вокруг тюрьмы трещали пулеметы, рвались ручные гранаты.

Петлюра вошёл в город. Гетман бежал.

В Рождественский сочельник выпустили тов. Собченко, а меня перевели в Лукьяновскую тюрьму, в распоряжение украинских властей.

В Лукьяновке можно было встретить весьма разнообразное общество. Гетманцы, ставленники немецких властей, русские черносотенцы, просто русские, провинившиеся против новой украинской орфографии, большевики, левые эсеры, бывшие царские шпионы и революционеры-социалисты — все сидели вместе в общих камерах и мало ладили друг с другом.

Охраняли нас галичане и другие петлюровские гайдамаки, политически ни в чём не разбиравшиеся и враждебно настроенные к арестованным. «Знаем мы вас, гетмана надо», — говорит солдат, грозно выставляя штык в грудь гуляющему в тюремном двореке арестанту. «Что ты, полно, товарищ, мы за власть Советов, а не за гетмана». — «А, за Советы, — уже совсем свирепо ревет тот, — так ты за Советы». Арестант скрывается в дверь корпуса от вполне возможной расправы.

Всю ночь будят выстрелы в окно камеры, оглушительно раздающиеся в каменных стенах, — это тешатся постовые.

Мы стёрли с дверей нашей камеры надпись «политические» и написали «уголовные» — так-то спокойнее: по вечерам галичане врывались в коридор: «Мы им покажем гетмана и Советы».

В общей камере, куда меня перевели по хлопотам с воли из одиночки (огромного нетопленного и неосвещённого сарая, куда меня посадили как смертника), содержались четыре человека: старая графиня, обвинявшаяся в службе в германской контрразведке, курсистка-еврейка, вся вина которой заключалась в её национальности, германская шпионка по его охранке и молоденькая чудесная девушка, коммунистка Галя Тимофеева (80), живая, умная и способная, все время оккупации проведшая в огне повстанческого движения. Сюда же привели и меня, и мы с Галей с рвением принялись за занятия математикой. Над ней висела угроза расстрела, мое положение было тоже очень неопределённое. Занятия наполняли содержанием нашу жизнь и сокращали время.

В конце января, почти накануне взятия Киева большевиками, меня освободили после неоднократных требований со стороны рабочих собраний и крестьянского Всеукраинского съезда, после долгих и упорных хлопот с воли приехавших выручать меня товарищей. Галя осталась, нервно ожидая скорого освобождения.

Перед уходом гайдамаков её вызвали обманом (при содействии сестры Датского Красного Креста) из тюрьмы и зверски убили без всякого суда. Страшно изуродованный труп её был найден на снегу на Владимирской горке с примерзшей к земле чудесной золотой косой. Её увезли в морг, где мы с трудом нашли и узнали среди других изуродованных и поруганных трупов жизнерадостную, красивую Гаю: горло проткнуто штыком, лицо изуродовано до полной неузнаваемости, в руках окровавленный узелочек с французской булкой и разметающаяся по заплывшему скользкому полу оборванная до половины золотая коса...

На Лукьяновской площади, у арестного дома, на втором от ворот телеграфном столбе я нашла еще следы от гвоздей, которыми была прибита доска над головой Бориса, и крючья, которые поддерживали веревки. На Лукьяновском кладбище, в участке для нищих, отмеченную щепочкой, которую воткнул кладбищенский сторож, мы разыскали его могилу и поставили на ней деревянный крест.

Из бюллетеня Центрального комитета партии левых с.-р. интернационалистов

7 апреля 1919 года в Киевском революционном трибунале происходил суд над палачом Бориса Донского и другими участниками его казни.

Свидетельскими показаниями выяснены некоторые неизвестные нам до сих пор подробности его ареста и смерти.

После взрыва бомбы Борис Донской был на месте схвачен немецкими солдатами, сильно избит и препровожден в немецкое караульное помещение, где после жестоких побоев ему учинен был первый допрос шефом германско-гетманской охраны Лешником (81) в присутствии гетманских и украинских властей. На этом допросе тов. Донской дал следующие показания:

«Зовут меня Борис Михайлович Донской. Мне 24 года. Я крестьянин села Гладкие Выселки Михайловского уезда Рязанской губернии; холост, грамотный, не судился. С 1915 до 1917 года служил в Балтийском флоте на транспортном судне “Азия”, где был минным машинистом. В партии состою с 1916 года. Виновным себя признаю.

Центральным комитетом украинской и российской партии лев. с.-р. было вынесено постановление убивать всех германских, французских и других иноземных военачальников, которые идут в Россию отбирать у крестьян землю и душить русскую революцию. Когда было вынесено такое постановление, я не знаю. Но на последнем съезде нашей партии в Москве это постановление было санкционировано.

Узнав о таком решении, я предложил свои услуги комитету для совершения любого террористического акта и приблизительно две недели тому назад получил от комитета приказание отправиться в Киев для убийства фельдмаршала Эйхгорна. Мне вручили бомбу круглой формы, конструкции которой я не знаю, деньги и револьвер.

Приехал в Киев вчера, впрочем, нет, я приехал гораздо раньше, но когда, не скажу. Жил нигде. Сегодня я отправился на Екатерининскую, так как узнал, что Эйхгорн пройдет из штаба домой; Эйхгорна узнал по портрету, который получил в Москве. На вопрос, не был ли вчера на Екатерининской, не желаю отвечать. Ни убежать, не застреливаться не хотел. Пришёл за 1–3 часа до акта и прогуливался. Когда Эйхгорн вышел из офицерского собрания, я пошёл следом за ним и бросил бомбу в сторону, и сдался подбежавшим германским солдатам. Я хотел, чтобы меня поймали и узнали, по какой причине я убил или хотел убить Эйхгорна. Я рядовой член партии. В Москве жил с начала 1918 года в общежитии на Воздвиженке. Моя партийная кличка — Донской.

Каким путем я вошёл в сношение с центральным комитетом, не желаю сказать.

Показания относительно организации и мотивов убийства не точны; центральным комитетом партии левых соц.-рев. был вынесен смертный приговор Эйхгорну за то, что он, являясь начальником германских военных сил, задушил революцию на

Украине, изменил политический строй, произвел, как сторонник буржуазии, переворот, способствуя избранию гетмана, и отобрал у крестьян землю. Когда центральным комитетом российской партии лев. соц.-рев. приговор был утвержден, я взялся за исполнение этого приговора и согласился убить Эйхгорна».

Когда после допроса Донского перевозили в немецкий арестный дом, германские офицеры бросили его, как собаку, на дно автомобиля, поставили ему сапоги на лицо и били шпорами. В арестном доме ему связали руки и ноги проволокой и прикрутили к койке, положив под голову дрова. В таком положении его подвергали всевозможным пыткам и издевательствам до 10 августа, когда виселица положила конец этим неслыханным мучениям.

О самой казни один из свидетелей рассказывает следующее: «10 августа, в пять часов дня, из переулка, ведущего из тюрьмы на площадь, место казни, вышли две роты немецких солдат и несколько человек в офицерских серых шинелях. Палач, арестант Лукьяновской тюрьмы, гладко выбритый, в серой шинели стоял у телефонного столба, где была приложена петля из скрученной проволоки и прибита большая доска с надписью: “Убийца генерал-фельдмаршала фон Эйхгорна”. Борис Донской подошёл к столбу и совершенно спокойно снял связанными руками шляпу с головы; палач “ловко” накинул петлю. Немецкий солдат выбил из-под ног Бориса Донского скамейку, и он повис».

На площади было много народа. Труп его оставили висеть на столбе в течение двух часов. На ночь его сняли и перенесли в часовню.

Временный служитель из уголовных потихоньку от администрации собрал цветы из больничного садика и осыпал ими тело покойного.

Так в цветах и отпевали его. А тюремный священник в присутствии немецких солдат, державшихся победителями, прочувствованным голосом молил: «Помяни, Господи, душу новопреставленного раба Твоего Бориса, варварами убиенного...»

Утром 11 августа Бориса похоронили на Лукьяновском кладбище.

На дошедшей до нас из тюрьмы каким-то чудом записке мы разобрали полустертые слова: «Для меня нет ничего в жизни более дорогого, чем революция и партия».

Большевистский суд приговорил палача, казнившего Донского, и старшего надзирателя Лукьяновской тюрьмы к расстрелу.

Представитель нашей партии энергично протестовал против расстрела жалкого арестанта, действовавшего по приказу германского начальства.

Открытое письмо И. К. Каховской председателю революционного трибунала

[апрель 1919]

Мне известно, что вы желаете на процессе левых соц.-рев. использовать мое перехваченное вашим провокатором письмо, адресованное в Кремль М. А. Спиридоновой. Выдержки из этого письма появились в «Известиях» в статье Петерса (82), где он ставил в пример лев. с.-р. мой лояльный образ мыслей. В официальном заявлении Романовскому я, ещё будучи в Москве, засвидетельствовала свою полную солидарность с партией левых соц.-рев. по всем вопросам её тактики, но не знаю, удалось ли отправить письмо по назначению после моего отъезда. Известно мне также, что обвинительный материал по делу левых соц.-рев., к которому приобщено и мое письмо, находится в настоящее время у вас. Поэтому считаю нужным сказать вам следующее.

Как вам может быть известно, я находилась в гетманско-германской тюрьме в Киеве с июля по февраль 1919 года. Москву покинула в конце мая 1918 г. и жила с тех пор в условиях глубокого подполья, оторванная от общей политической жизни и жизни партии, как этого требовала конспиративная террористическая работа в Киеве.

Обо всем происходящем в России узнавала исключительно из буржуазных и монархических газет. Уехала я из Москвы под впечатлением начинавшегося глубокого расхождения партии левых с.-р. с вашей партией, но все же полная веры в возможность дальнейшей совместной работы в борьбе за социализм. На Украине при гетмане и Петлюре слово «большевик», знаменовавшее в ту пору освободительные октябрьские идеи, было дорого всем трудящимся. Идея Советов сохранилась во всей своей октябрьской непорочности. Вас ждали там, как проводников истинной Советской политики, как защитников труда. Все доходившие до нас из буржуазных и монархических газет вести о разгроме крестьянских восстаний, о вашей чудовищной аграрной политике, о петроградских событиях, о вашем политическом и моральном развороте и палачестве — я и мои товарищи по работе отметили с презрением, как злобную клевету врагов против наиболее могущественной в России, истинно социалистической партии. Мне лично пришлось клятвенно убеждать германских солдат, указывавших мне на ужасы большевистского режима, в неправде всего того, что печатали о вас в их немецких газетах и что, как я теперь лично убедилась, является бледным отголоском того ужаса, который вы творите в действительности.

Приехав в Москву, я застала почти всю московскую организацию в тюрьме: остатки её с трудом собирали силы. Некоторое время мне не удавалось встретить ни

одного ответственного работника лев. с.-р., и все сведения о партии я черпала из ваших газет и со слов бывших моих товарищей, отошедших от партии. Получив возможность отправить письмо М. А. Спиридоновой, я написала ей о своих сомнениях как ответственному представителю партии и моему личному другу. Письмо попало в ваши руки. Вот уже третий месяц, как я живу в непрерывном общении с трудящимися, от имени которых вы совершали ваши преступления и которым вы бесконечно далеки и враждебны. Вашу работу вижу в общих её линиях и в деталях. Убедилась в том, что вы систематически толкаете массы в объятия колчаковской и правозсеровской реакции и что спасти революцию может лишь уничтожение вашей диктатуры и передача власти в руки Советов, свободно избранных трудящимися. Ненавистью к вам залита сейчас уже вся Украина: там темнота народа отождествила вас с евреями, и за ваши чудовищные дела, за неистовства ваших чрезвычайек расплачивается ни в чём не повинное еврейское население. Вы враждебны революции, истинному массовому творчеству новых форм жизни не менее, чем Колчак и меньшевики, не менее, чем Клемансо и Вильсон (83).

С другой стороны, после самого критического и тщательного анализа работы партии левых с.-р. я убедилась, что все, что вы пишете и говорите о ней, сплошная клевета. Партия выполняет колоссальную положительную работу, спасая идею власти Советов, опороченную вами и отождествляемую сейчас в глазах менее сознательных крестьян и рабочих с ненавистной им «коммунистической диктатурой». Крепнущая идейно и организационно под всеми ударами, наша партия является сейчас единственной, которой верят трудовые массы, и как ни трудно наше дело, все же партии удастся там, где она сильна, удерживать протестующие массы под лозунгами борьбы за истинную власть Советов, противопоставляя их лозунгам Учредительного собрания и колчаковским, которые становятся кое-где популярными, как антибольшевистские. Не имея ни одного уголка на земном шаре, где бы партия могла бы лояльно существовать, партия живет и крепнет.

Я лично считаю за честь бороться в её рядах и нести ответственность за все её выступления. Письмо это будет опубликовано в нашей печати. Делайте соответствующие выводы.

И. Каховская

Бюллетень ЦК ПЛСР. 1919. № 4. С. 5

В Деникинской оккупации

(Август 19 г. — январь 20 г.)

Создавшаяся к началу 19-го года в Советской России политическая обстановка была чрезвычайно острой и напряженной. Положение революции становилось все более и более угрожающим.

Вместо прежних расплывчатых остатков монархического офицерства и царского чиновничества на востоке выросла стена консолидировавшихся реакционных сил, поддерживаемых и материально, и технически, и в финансовом отношении наиболее реакционными империалистическими государствами.

После неудавшейся попытки созыва Учред. собр. на востоке России, образования коалиционной директории с меньшинством социалистов в её составе, вполне бес- сильной в борьбе с белогвардейской реакцией, последняя наконец восторжествовала в лице адмирала Колчака, провозглашенного после переворота 18 ноября в Омске и ареста Директории «верховным правителем России».

Угрожающее значение этой незначительной самой по себе фигуры заключалось в том, что она ходом событий становилась основным центром притяжения сил всероссийской и европейской реакции, к которой тянулись сатрапы и властители южных частей России. Этим объединением реакционных сил — вокруг социалистической и революционной России, крестьянской и рабочей, — все крепче стягивалось стальное кольцо.

Белый генерал на белом коне, въезжающий в качестве кровавого диктатора в разгромленную Россию, становился все большей реальностью. Поэтому, когда перед ЦК партии левых с.-р. стал вопрос о борьбе против надвигающейся белогвардейщины, то, наряду с решением всяческой поддержки и партизанской и массовой борьбы трудящихся против белых, стал вопрос и об индивидуальных террористических актах по отношению к наиболее выдающимся фигурам белого лагеря. И так как в это время Колчак был именно такой центральной фигурой реакции, то ЦК решил отправить часть Боевой организации в тыл к Колчаку. Для постановки такого предприятия необходимы были подходящие люди, денежные средства и технические материалы. Боевая группа, которой предоставлено было выполнение террористического акта против Колчака, составила из 7 товарищей. Туда вошли два члена прежней Боевой организации, работавшей на Украине: максималист М. З., каторжанин-шлиссельбуржец (84), я и два новых товарища: т. А., вызванный для этой цели из Казани, и Михаил Ж. (85), который являлся очень ценным у нас человеком для подготовки технической стороны боевой работы.

Центральным комитетом были ассигнованы необходимые денежные средства: все технические материалы (взрывчатые вещества и кислоты) были доставлены рабочими шлиссельбургских пороховых заводов; члены группы были снабжены необходимыми для приезда в белогвардейскую территорию документами. Однако

этой группе не суждено было не только выполнить своё задание, но даже выехать из Москвы.

В первых числах мая 3 человека были арестованы большевиками: Мих. Ж., т. А. и я. При моем аресте взяты были приготовленные для выезда документы и письма, из которых Чека ясно обнаружила цель поездки в Сибирь, а затем в непродолжительном времени выяснено было и кто мы такие, хотя сели мы все под фальшивыми паспортами. В середине июня мы были выпущены, причем следователь Романовский **(86)** взял с меня обязательство, «если уцелею», вернуться в тюрьму добровольно при возвращении в Советскую Россию. Товарищ А. остался в тюрьме, а М. З., Михаил и я принялись снова за подготовку отъезда, но уже не в сторону Колчака, а на Украину, где в это время выдвинулась фигура Деникина, ведшего стремительное наступление на Киев.

Приехавши из Киева как раз в день нашего освобождения из Бутырок, тов. С. **(87)**, участник покушения на Эйхгорна, предложил нам соединить боевые силы наши и лев. с.-р. борьбистов **(88)**. Борьбисты обладали, по словам С., сплоченной и цельной в качественном отношении группой, большими, чем мы, денежными средствами.

Получив санкцию ЦК, мы дали принципиальное согласие слить обе группы в одну боевую организацию.

В первых числах августа мы наконец выехали. Необходимо было приехать в Киев за некоторое время до занятия его Деникиным, чтобы успеть должным образом подготовиться и законспирироваться. Такой метод проникновения во враждебный стан был гораздо целесообразнее, чем переход фронта, и обычно практиковался всеми революционерами, пробиравшимися в оккупацию.

10 августа, как раз в день годовщины казни Бориса Донского, мы приехали в Киев.

Эвакуация была в полном разгаре. Вывозили все, что только можно было вывезти, вплоть до мебели учреждений; по направлению к вокзалу тянулись обозы ломовых и множество извозчиков с уезжавшими в Москву коммунистами. Глухо доносилась канонада. Петлюровские и деникинские войска подступали с разных сторон к городу, и многие пути были уже отрезаны. Все жили в нервном ожидании, и на улицах вслух, не стесняясь, обсуждали шансы наступавших. У общественных и советских учреждений, у зданий клубов революционных организаций то и дело задерживали лиц, в которых подозревали агентов белогвардейского шпионажа. Чрезвычайка спешно ликвидировала свои дела.

Мы приехали в Киев нелегально и старались не попадаться местной знакомой публике на глаза. Остановиться все же пришлось в партийном клубе л. с.-р. борьбистов, где нам отвели изолированную комнату. Вопрос о квартирах стал так остро, что едва не затормозил всю работу. Несмотря на эвакуацию, аппарат «Киевской коммуны» **(89)** продолжал функционировать по инерции.

Чтобы найти комнаты, квартиры, где мы могли бы жить во время предстоящей оккупации, нам пришлось писать себе документы советских и партийных работников, так как иначе невозможно было получить ордер. Между тем всякий жилец, поселявшийся по большевистскому ордеру, встречался враждебно хозяевами квартиры или дома. В нем видели большевика или причастного к коммунизму человека: это могло впоследствии крайне вредно отразиться на его судьбе. В эти дни томительного ожидания обыватели так лгали друг пред другом, так лукавили, чтобы скрыть свою

истинную политическую физиономию, что это заслуживает быть отмеченным. Но необходимо было создать себе репутацию благонадежности на будущее, и тут положение тоже оказывалось не из легких: наступали одновременно Деникин и Петлюра; никто не знал, кто из них войдет в город первым и, следовательно, какую выгоднее принять покровительственную окраску заранее в глазах соседей и знакомых. При Петлюре надо быть щирым украинцем, обязательно юдофобом. При Деникине нужно иметь лозунгом «единую неделимую», вместо «Украина», говорить «Малороссия», мечтать о крестовом походе на Москву. Наиболее благоразумные совсем молчали или облекались в политический индифферентизм и толстовство.

Наше положение в этом отношении оказалось очень неловким. Приходишь смотреть комнату, а квартирохозяин, ничем не рискуя сам, первым долгом ставит тебе вопрос относительно политических убеждений, и домовый комитет, боясь ответственности, выпрашивает всю подноготную. В милиции особенно тщательно рассматривается при прописке паспорт, проверяются в нем предыдущие заявки; наибольшее количество провалов относится как раз на долю случайностей, возникших при перемене квартиры.

На предварительном организационном собрании, в клубе мы познакомились с товарищами борьбистами. Это оказалась все очень молодая публика, производившая благоприятное впечатление. Беда была в том, что нас тоже всех знали в Киеве. Товарищи В. Р. (90) и М. Р. (91) выдвинулись по советской работе; Т. А. знали все киевские рабочие, как работника в профессиональном движении. Меня, кроме партийной периферии, знали хорошо агенты шпионажа, которые не за страх, а за совесть служили и большевикам и белогвардейцам, т. к. по существу все оккупанты Украины пользовались одним и тем же полицейско-милицейским и шпионским аппаратом. Тов. С. знали, кроме того, все киевские обыватели, как постоянного киевского жителя. Плохо было и то, что среди нас было несколько евреев, которым, мы знали, придется подвергаться опасности вдвойне: и как революционерам, и как евреям. Все же кое-как разместились, перекрасившись, загримировавшись, постаравшись сделаться неузнаваемыми, в разных углах Киева, преимущественно на окраинах и за городом. Помещения у всех были временные. Предполагалось сразу же после оккупации нас Петлюрой или Деникиным, т. е. после того, как мы очутимся по ту сторону линии фронта, разъехаться, составив 2 боевые группы.

Центральной квартирой была дачка в Святошине, там устраивались собрания нашей группы, хранилась зарытая в сарае нелегальщина; там же ночевали в случае нужды наши бездомные товарищи и была налажена маленькая лаборатория. В Пуще-Водице мы поселились на даче товарища максималиста Стася (92) (шлисьсельбурж. каторжан.) и устроили в лесу, недалеко от его дома, склад взрывчатых веществ и оружия. Часть динамита, деньги и паспортное бюро, инструменты для изготовления печатей зарыли в Святошинском лесу. М. З. поселился как спекулянт в центре города на М. Васильковской (93). Тов. С. достал довольно удобную комнату недалеко от Софийского собора и тоже изображал спекулянта. Остальные разместились на дачах. Я моталась непрописанная, ночевала б. ч. (94) в Святошине, и лишь впоследствии удалось достать приют в сочувствовавшем еврейском семействе. Все это первое время, ещё при большевиках, пришлось затратить на то, чтобы успеть законспирироваться, спрятаться поосновательнее, подготовить всю технику... Каче-

ственный состав группы для меня был очень неясен. Мы, москвичи, почти не знали украинских товарищей. Наш блок с борьбистами привел к механической спайке двух внутренне пока ещё не сроднившихся групп. Ясно было, что впоследствии в деле публика дифференцируется, перегруппируется, и некоторые, быть может, отойдут. Тревога в городе усиливалась с каждым днем. Говорили, что центральное украинское правительство уже выехало. Вступления белых ждали со дня на день.

Киев переживал уже 10-ю или 11-ю по счету смену власти за время революции. Самым страшным для городского населения временем бывали обычно дни междуцарствия, когда одна власть уже бежала, а другая ещё не успела водвориться. Во время борьбы за обладание городом настоящими господами положения являлись погромные элементы — «налётчики», и особенно страдали, как здесь и везде на Украине, еврейские кварталы. Обыватель выработал себе целую систему самообороны. Ворота домов забивались толстыми деревянными щитами, квартиранты организовывали домовую охрану, вооруженную одной-двумя винтовками. Охрана предназначалась, главным образом, для того, чтобы вовремя поднять в доме тревогу в случае опасности. Для сигнализации устраивался целый оркестр из сковородок, кастрюлек и тазов, в которые усиленно барабанили дежурившие во дворе обитатели дома, надеясь этим шумом привлечь внимание и помощь соседей.

Большевики начали раздавать оружие гражданской добровольческой милиции, которая состояла главным образом из рабочей молодежи, гимназистов и студентов. Еврейская община организовала особую дружину самообороны, штаб которой находился в Городской думе.

Канонада слышалась все ближе и ближе, и наконец в 20-х числах августа в прекрасный яркий вечер над Фундуклеевской (95) разорвалась первая шрапнель, а затем снаряды посыпались один за другим в самом центре города. Крещатик и Большая Васильковская оказались сразу же запруженными бегущими запыхавшимися потными солдатами, направлявшимися к Днепру, для посадки на пароходы, и на Дарницкий мост, который тоже уже обстреливался наступающими войсками. Улицы быстро пустели, слышался стук заколачиваемых ворот; на окна магазинов надвинулись тяжелые железные щиты. Темнело. Спустившаяся ночь принесла народу много крови и слез. До самого утра шла бешеная артиллерийская перестрелка между наступающими и красной артиллерией, отвечавшей с берега и судов. Всю ночь высыпавшие в свои дворы и садики обыватели прислушивались к жуткому звуку пронесившихся над головой снарядов и определяли по звуку взрыва, где разорвалось. Многие снаряды падали в городе, ранили и убивали людей. Запылали пожары, начались взрывы каких-то военных складов на Печерске. Никто ещё не знал, Петлюра или Деникин войдет завтра в город. Лишь под утро стихла канонада, и с первыми лучами солнца в заснувшие после тревожной ночи улицы вступили Петлюровские войска. Первое, что я увидела, выйдя рано утром на Васильковскую, был плавающий в крови труп убитого еврея в рабочем костюме. Всюду на углах валялись сорванные красные вывески с большевистскими названиями улиц. Солдаты, здоровые украинские хлопцы, балагурили с базарными торговками, те кормили их булками и грушами; из домов выносили воду и квас.

Часам к 10 весь город высыпал на улицу. Входили все новые и новые войска: нарядная кавалерия, с разубранными цветами конскими гривами, офицерами в

белых перчатках, пехота, пушки, тоже увитые гирляндами зелени и цветов. Узнавали родных, знакомых; шли поцелуи, приветствия. Нигде не видно было ни одного еврея. Лишь под сильным конвоем, под улюлюканье базарной толпы провели на «огороды» на расстрел 60 человек еврейской боевой дружины самообороны, захваченной в Думе с оружием (из них спаслось несколько бежавших с места казни — остальные были расстреляны), да валялись на мостовой и тротуарах трупы убитых. Толпа рассматривала их с враждебным любопытством, перенося на них всю ненависть и все мстительные чувства, которые созрели в ней за время владычества большевиков, против носителей «советской власти». Вообще на Украине в то время «большевик» и «еврей» были синонимы, и невиданной высоты погромная волна, поднявшаяся здесь во время денкинской, объясняется, главным образом, полным смешением понятий в головах тёмных деревенских и городских масс. Как общее явление следует отметить, что все последующие погромы еврейского населения начинались и производились, главным образом, вооружённой солдатской силой при молчаливом пассивном сочувствии населения, но правительственная погромная агитация, всегда намеренно отождествлявшая владычество большевиков и еврейское засилие, производила своё действие, и зачастую имели место эксцессы, по своей жестокости трудно поддающиеся описанию.

Над Городской думой водрузили национальный — украинский желтый с голубым флаг. Самого Батьку ждали назавтра...

Петлюровская власть из всех сменявших друг друга, как в калейдоскопе, властей на Украине являлась наименее популярной в Киеве, населённом рабочими, бюрократией, русской и еврейской буржуазией. Здесь украинизация быта с внешней стороны жизни производилась всегда с громадной натяжкой, и патриоты, главным образом среди студенчества, представляли очень жалкую кучку. Купцы ворчали, что приходится перекрашивать на украинский язык магазинные вывески: из табачной лавочки делать «тютюнов укромницею», из «кофейни» — «каварию». Чиновникам предстояло в экстренном порядке изучить украинскую грамматику и подвергаться жесточайшим репрессиям за допущенные в бумагах ошибки орфографии. Рабочие, вечно подозреваемые в большевизме и московских симпатиях, были у Петлюры на дурном счету. В полдень уже разыгрался в Думе знаменательный инцидент. Появившийся откуда-то разъезд казаков, наведя панику на окружающих, сорвал украинский и водрузил на здание Думы русский национальный флаг. Праздничное настроение было несколько смущено. Симпатии к гайдамакам стали проявляться сдержаннее; смельчаки уже посмеивались над их преждевременным торжеством. К вечеру в результате каких-то оставшихся публике неизвестными переговоров с обложившей со всех сторон Киев Добровольческой армией петлюровские войска потихоньку выбрались из Киева и расположились в Святошине. Их 20-часовое владычество в Киеве ознаменовалось лишь расстрелами и избиением сотни-другой евреев. Я наблюдала петлюровские войска через два дня в Святошине, куда пробралась пешком проведать нашу дачку. Они расположились на улице и в лесу, рассыпались по деревням... Население относилось к ним по-родственному, как нельзя более дружелюбно. Они держались в деревне сдержанно скромно, щедро расплачивались, говорили народу, что пришли защищать свободу от большевиков и царских генералов. Своё отступление из Киева они понимали как временное и как бы уступали Деникину

по договору на время столицу Украины. Так, очевидно, объяснило им дело их начальство. На следующее утро после ухода петлюровских войск из Киева — город представлял из себя совершенно иную картину. Опять по Крещатику шли войска, но состав и вид их был совершенно иной. Это не были демократические, как дома себя чувствующие, добродушно балакающие с торговками украинские хлопцы. В город вступили, главным образом, казаки, враждебно смотревшие на окружающий народ; вымуштрованная пехота, подчищенная, очевидно, для парадного вступления, но усталая и мрачная, со злыми настороженными офицерами; генералы с победным видом въезжали в колясках. В конце ехали длинные вереницы карет и дорожных старомодных помещичьих экипажей с семьями и багажом господ офицеров, а затем подводы с солдатскими сундучками. Чувствовалось вступление «твердой» и более или менее постоянной власти. Обыватель мог уже не опасаясь выражать свой восторг. И сочувственная манифестация, устроенная местной буржуазией, была очень импозантна. Путь вступающих войск был буквально усыпан цветами; дома на главных улицах пышно расцвечены флагами и коврами.

Вся притаившаяся во время большевиков нарядная публика высыпала на улицу. Целовались, вытирали слезы, крестились. Вовсю звонили колокола, и внешне город, на фоне пышной осени, производил впечатление большого светлого праздника. Малосознательная городская беднота и мещанство, понимавшие из всего этого только то, что большевиков больше не будет и значительно подешевеет хлеб, присоединились к общему ликованию. Как и вчера, благословляли избавителей и проклинали «жидов», вкладывая в это слово целое море ненависти.

Новая власть, не отступая от обычной своей программы действия, с первого же часа своего прихода начала погромную агитацию. Часа в два по Крещатику продефилировал ужасный кортеж. На нескольких извозчиках медленно провезли на глазах у разъяренной, скупившейся на тротуарах толпы, едва сдерживаемой шпалерами солдат, каких-то растерзанных мужчин и женщин — евреев. С экипажей раздавались исступлённые крики мольбы о жалости и помощи; «За что, за что, только потому, что я еврейка», — кричала какая-то молодая хорошо одетая женщина в изодранной нарядной блузке; на ступеньках экипажа и рядом с ней три казака с обнаженными шашками пытались заставить её замолчать. Всюду благовест, цветы, музыка. Открывают окна морга, выходящие на Фундуклеевскую, — невыносимое зловоние заражает несколько кварталов, а кругом шныряющие агенты нашёптывают: «Это гниют тела расстрелянных большевиками людей». Подъезжает телега, нагруженная подобранными трупами убитых евреев. Широкий людской поток вливается за нею в открытые ворота анатомического театра. В большом зале морга один на другом, как бревна, навалены у стены полуразложившиеся оголённые трупы; поражает их количество. Среди них много действительно расстрелянных, но много и случайно убитых в эти смутные дни подобранных на улице неизвестных покойников — всё приписывается большевикам. Какой-то человек у груды трупов произносит перед возбуждённой, преимущественно женской толпой истерическую речь.

С утра начинается — и продолжается несколько дней паломничество в Чека на Екатерининскую и Левашевскую (96) (Чека занимала те же здания, что до неё Эйхгорн и Скоропадский). Иностранцы журналисты, интеллигенты с фотографическими аппаратами, толпы простого народа. Кругом стоит вопль и плач. Разрывают свежие,

едва прикрытые землёй, трупы, ещё недавно живых людей — узнают родственников, знакомых. Какая-то мать с полубезумным лицом разыскивает сына. Трупы, трупы без конца. На мусорной куче, в углу, пристреленный при отступлении сторожем Чеки еврей. Вскрывают подвалы — лужи крови, разбитые бутылки, окурки. Всё это в сотнях фотографических снимков на следующий день рассматривают в витринах открывшихся магазинов толпы народа. Атмосфера раскалена добела. Страшно произнести слово, сделать лишний жест. Все подозрительно следят друг за другом. «Вот — чекистка Роза, она сама расстреливала!» — кричит кто-то из толпы, и мигом страшный клубок людских тел рычит и вьётся — и я не знаю, что случилось с мнимой «Розой». Очевидцы разбредаются по городу, рассказывают, преувеличивают: всюду истерики, слёзы. К вечеру следующего дня город превращается в настоящий бедлам юдофобского возбуждения. Раскрываются кинематографы, и донельзя наэлектризованная публика смотрит на экране фантастические картины пыток. Шпионаж проникает сразу во все поры жизни, а добровольческий сыск и настороженность обывателя до того отравляют все человеческие отношения, все стороны быта, что жизнь получает какой-то совершенно болезненный кошмарный отпечаток.

Мне приходится ежедневно ездить на паровичке в Святошино. Приезжаю совершенно больная от чудовищно-кровавых разговоров. Во всех дачных местностях евреи уже разгромлены. Едущие дачники и крестьяне ближайших деревень, везущие в город на базар молоко и фрукты, наперерыв смакуют кровавые инциденты и общим спевшимся хором проклинаят жидовское племя, призывая на его голову всякие муки. Твоё молчание и выражение лица уже кажутся подозрительными для окружающих и вызывают подозрительное перешёптывание и коварные вопросы. В самом городе идёт тихий погром, не приобретающий, однако, стихийный характер, сдерживаемый ещё, вопреки всяческой провокации, каким-то остатком человечности в людях. По несколько раз в день видишь на улице то здесь, то там, как группы казаков избивают отдельных неосторожно показавшихся на улице евреев и куда-то волокут или бросают тут окровавленных. В день газеты регистрируют 60-70 случаев убитых, неизвестно кем и при каких обстоятельствах, лиц еврейского происхождения. Наши товарищи, евреи, сидят по домам, мы носим им продовольствие. Совершенно ясным становится, что в партийной и боевой работе им участвовать будет немислимо, — при первой возможности надо уехать из Киева в Харьков, где о погромах не слышно, или в Одессу. Но выбраться пока нельзя. Поезда ходят туго. Билеты выдаются лишь по удостоверениям полиции, что такой-то или такая-то никогда не принимала участия в большевистском движении. Эти удостоверения нам удастся себе устроить, но и попав в поезд, нельзя быть уверенным, что доедешь. Уехавшая в Харьков одна партийная работница писала нам оттуда с оказией: «Ради Бога, не выезжайте, я приехала в Харьков седая от виденных в дороге ужасов. В вагонах особенно свирепствует чёрная сотня. Пассажиров заставляют читать “Отче наш” и “Верую”, произносить особенно трудные для еврейского выговора русские слова. Уличённых в еврействе безжалостно мучают и выбрасывают на ходу с вагона. Таких валяющихся у полотна трупов проезжающие насчитывают сотнями на всех подъездных к Киеву путях».

В самом городе особенно страдают окраины с густым еврейским населением, где ежедневно на улицах разыгрываются десятки кровавых расправ. Особенно вжегся мне в память один страшный случай. Мы ехали с товарищем на Шулявку, отвозили

вещи к одной сочувствовавшей и помогавшей нам максималистке. Заходило солнце. Выезжая, мы заметили, что улица, по которой мы едем, странно пуста. Впереди, как раз на фоне вечерней зари, несколько резко выделяющихся силуэтов конных казаков. Они рубят что-то, лежащее на земле. Нам надо проехать мимо. При нашем приближении с земли поднимается человеческая фигура и быстро направляется, шатаясь, к нам навстречу. Это — старый еврей, в длинном одеянии, с пейсами. По всему лицу идет полоса сабельного удара, грудь залита кровью. Глаза с мольбой и надеждой смотрят на нас. М. б. (97), люди, м. б., защитим и поможем; мы отворачивается, извозчик проезжает мимо. Еврей идет в том же направлении к городу — очевидно, домой; казаки шагом, издеваясь, идут за ним, играя, как кошка с мышью; у них в углах губ пена и глаза красные и пьяные. Еврей, по-видимому, несколько успокоенный, идет уже по тротуару. Через десять минут, оставив вещи, мы едем на том же извозчике обратно, той же дорогой. У маленькой, в три окна, лачужки, где болтается на одном гвозде сбитая набок вывеска сапожника, полукругом стоят те же конные казаки. Один из них нагайкой выбивает стекла в окнах избушки. Толпа на противоположной стороне смотрит с жутким и жадным любопытством. Еврей, очевидно, спасаясь от казаков, зашел в свой домик, и теперь этот домик осажден, как берлога зверя. Простившись с товарищами, я слезаю у остановки трамвая с извозчика и на паровичке возвращаюсь в Святошино. Мне приходится третий раз проезжать мимо этого самого места. Перед глазами мелькает, как в панораме, картина. Улицы ниже, чем насыпь, на которой проложены рельсы паровичка, и из окон вагона мне видна очень близко внутренность домика. Чистенькая комната, посредине стол, покрытый скатертью; двое детей лет пяти-шести, очевидно, плача, нервно перебирают, теребят скатерть. В углу женщина, заломив руки, прижалась к стене. На полу лежит тот самый старик, и казак что-то ковыряет ему шашкой в горле, наступив коленом на грудь... Первые дни денкинской оккупации мы были до того подавлены впечатлениями, до того трудно было приспособиться и привыкнуть, что мы старались лишь поменьше выходить из дому, чтобы не выдать где-нибудь себя возмущенным возгласом или даже взглядом, и лишь напрягали все усилия, чтобы достать документы на выезд товарищам евреям и яд, который мы хотели иметь, каждый при себе, на всякий случай.

Через неделю нам все же удалось собраться в Святошинском лесу. Группа наша состояла, таким образом, из М. З., Михаила, тов. С. и меня, хорошо знавших друг друга, спянных прежней совместной работой. Затем из украинских товарищей к ней примкнули В. Р. — молодая, но уже с некоторым стажем талантливая девушка, М. Р. — студент, выдвинувшийся в Киеве на советской работе, и Павло А. — студент, весельчак и певун, работник профессионального движения. Кроме того, большим приобретением, пожалуй, наиболее ценным для нашей группы, был Костя П., бывший московский работник, человек с большим партийным стажем и жизненным опытом, отбывший годы царской ссылки, твердый, преданный, выдержанный, с огромной долей неизжитого идеализма и революционной романтики, подошедший к нашему делу с энтузиазмом и серьезностью. Л. — его жена — явилась для нас незаменимой и верной помощницей во всех дальнейших мытарствах...

Мы осмотрели друг друга, расценивая удачность костюмов и гримировки, причесок и окраски волос с точки зрения изменения нашей наружности, и нашли друг

друга удовлетворяющими требованиям конспирации. Распределили роли. М. З. остается в городе, ведет все связи с милицией и прочими учреждениями, которые могут снабжать нас необходимыми для проживания и передвижения документами; он ведает денежной частью и обменивает наши «царские» деньги на деникинские, по мере надобности, через свои спекулятивные связи. Пока что он остается в стороне от непосредственного участия в проведении акта. В. Р. и М. Р. при первой возможности уезжают в Одессу (98); тов. С. связывает нас с местной организацией и тоже как можно меньше мешается в Деникинское дело. Костя, Лена, Михаил, Павло и я беремся немедленно за подготовку покушения на Деникина.

Обсуждаем тут же все вместе план выполнения дела. Удобнее всего совершить его в Киеве, куда, несомненно, в ближайшие же дни приедет главнокомандующий. Все газеты уже полны планами предстоящей встречи. На памятнике Хмельницкого спешно восстанавливается соскобленная было Петлюрой подпись о «единой и неделимой». На Софийской площади предполагается парад. Нам кажется совершенно несомненным, что обстановка будет благоприятной. Во время парада на дороге, в соборе, всюду мы сможем проникнуть близко. Дело можно будет совершить в ближайшие же дни; нужно хорошо обставить отступление для уцелевших, приготовить ещё квартиры и паспорта, возможность удобного выезда. По выполнении первого дела оставшаяся часть группы сможет центр тяжести перенести на заграничную поездку. Очень тяжело становится вопрос о возможности, как следствие покушения на Деникина, еврейского погрома. Что будет с Киевом, если мы убьем Деникина, и можем ли мы в создавшейся раскалённой атмосфере, когда каждый неосторожный жест может толкнуть готовую сорваться лавину погрома, взять на себя ответственность за тысячи жизней, которые могут погибнуть при этом. Так ставим вопрос мы, москвичи, и в зависимости от его решения находится, конечно, вся дальнейшая наша деятельность. Местные же товарищи, а также М. З. родом из Западной обл. (99), выдавшие и пережившие десятки погромов, потерявшие в них друзей и родных, категорически отвергают самую постановку вопроса. Погром есть уже, он идёт и сейчас; он должен разразиться не сегодня завтра так или иначе. Их были уже сотни. Наше дело можно рассматривать отчасти как оборону евреев от этих погромов. Дело не в том, что сегодня убьют лишнюю сотню человек, а в том, чтобы убить самую причину, организатора и вдохновителя погромной волны — Добровольческую армию. Деникин как личность является незаменимым. Мы много слышали о том значении, которое придают в добровольческих кругах его фигуре. Акт будет иметь, помимо своего агитационного и демонстративного для заграницы значения, ещё и дезорганизующее и, может быть, в конечном счёте спасет не одну сотню человеческих жизней тех же евреев. Аргументация украинцев казалась неопровержимой, но мы всё же приняли её с тяжёлым сердцем и разошлись подавленные.

Через несколько дней В. Р. в студенческом поезде с паспортом русской курсистки пыталась выехать из Киева, в руках у неё было удостоверение о политической благонадежности и закатанный в воске кусочек цианистого калия, единственного оружия самообороны против возможных в дороге насилий. Дня через два она вернулась. Ей пришлось вылезть из вагона и пробираться обратно, так как её еврейское происхождение было обнаружено. Лишь через неделю она окончательно уехала.

М. Р., очень мало похожий на еврея по внешности, жил как больной студент в семье одного инженера в Святошине. Я ходила к нему как сестра, заботящаяся о больном брате. Казалось, мы не возбуждали никаких подозрений. Михаил делал на Святошинской даче снаряды. В бесконечно сложных хлопотах о каком-нибудь пустяке уходило наше время.

Приходилось возвращаться домой поздно вечером, на последнем паровичке. В одну темную ночь, высадившись на последней остановке, на самой окраине Святошинского поселка, я пробиралась почти ощупью вдоль заборов улицы к своей даче. Меня остановил резкий крик над самым ухом: «Руки вверх, ваши документы!» Это было за два шага от нашего дома. В темноте различила три военных фигуры в офицерских шинелях и три направленных на меня револьверных дула... Квартира провалилась, очевидно, засада и останавливают прохожих, подумала я. У меня были с собой только что полученные в городе из милиции пустые бланки и факсимиле подписей чиновников милиции. Отбирают все. Разыгрываю испуганную дачницу. «Ваш адрес?» — называю другую улицу; «Ваши деньги», — отдаю триста рублей — обыскивают, несмотря на мои протесты. Мне кажется подозрительным, что они действуют в темноте и не соглашаются идти со мной на шоссе к фонарю. «Ваши часы, ваше кольцо, ваш костюм!» Требую и получаю обратно свой паспорт и возвращаюсь, ободранная как липка, домой. Этот инцидент заставил нас на следующий же день сняться с квартиры, поменять паспорта и тем избежать, может быть, готовившегося уже провала. У бандитов остались, кроме моего удостоверения из домового комитета, пустые бланки и несколько фальшивых документов, обличавших во мне нелегального человека, а по тогдашним настроениям безусловно большевичку. Между бандитскими шайками и милицией было трудно провести границу. Сама безнаказанность налетов, их дерзость объяснялись именно тем, что организовывались они, главным образом, людьми, имеющими прямое назначение охранять безопасность граждан. Мы считали себя проваленными. Собрались на ночь, а утром уже нас не было в Святошине. На следующий день явился обыск на квартиру к М. Р., с которым мы были связаны. Он счастливо избежал ареста. Затем обнаружилась слежка и за нашим домиком, в котором пришлось бросить всю мебель; явился ли провал вследствие ночного запоздания, или произошёл в связи с случайным провалом М. Р., которого могли узнать на улице, так мы и не выяснили. Переезд наш и устройство на новых квартирах были сопряжены с громадной тратой энергии; долго не ладился отъезд М. Р., которому тоже пришлось вернуться с полдороги. Все бесплодные, по существу, усилия, которые приходилось затрачивать, чтобы только уцелеть самим, вечная напряженность и ежечасная возможность провала из-за пустой случайности заставляли нас с большим нетерпением ожидать приезда главнокомандующего, а он все не ехал... Мы изучали маршруты и места остановок различных высокопоставленных лиц, которые часто ходили на многочисленные парады, и все более убеждались, что если Деникин приедет в Киев — удача обеспечена. Но самая зависимость от его случайного приезда была очень стеснительна. Хотелось перейти в наступление, двинуться в Ростов или Таганрог — резиденцию генерала — и там уже с уверенностью готовить покушение. В Одессе и Харькове находились л. с.-р. боевые группы, поставившие себе ту же цель, что и мы. Но Деникин не раз бывал в Харькове, побывал в Одессе и уехал оттуда целым и невредимым.

В конце сентября в Киев приехала А., член харьковской боевой группы. Она рассказывала нам о тех мытарствах, которые пришлось пережить их группе при переходе через фронт. Едва спасшись сами, они очутились в Харькове с пустыми руками, потеряв по дороге взрывчатые вещества и оружие, и смотрели бессильно за несколькими шагами на принимавшего парад в Харькове Деникина. Мы снабдили её всем необходимым и отправили обратно.

Из Одессы нам сообщили, что посланная оттуда в Ростов разведка дала очень неутешительные сведения. В Таганрог въезд абсолютно воспрещён. Такое же запрещение ожидается и в Ростове, донельзя переполненном. Квартирный кризис в Ростове невероятный. Живут по 30–50 человек в небольшой квартире, за угол платят бешеные деньги. Свирепствует повальный тиф с колоссальным процентом смертности. При выходе, на вокзале всех пассажиров старательно обыскивают и проверяют документы. При прописке необходимо быть профильтрованным через какой-то специальный аппарат политической контрразведки. Все время идут наборы, и учет военнообязанных производится особенно тщательно. Деникин бывает в Ростове раз в неделю на заседаниях Верховного Совета. Каждый раз место заседания меняется. С вокзала он едет загримированным, в закрытом автомобиле, причём всегда в ряду других таких же точно автомобилей. Было уже произведено несколько неудачных, оставшихся анонимными покушений на его жизнь, и вспугнутая охрана принимает самые крайние меры. Ехать туда не советуют, тем более что провезти из Киева в Ростов наш багаж и деньги почти невозможно при постоянных обысках и конфискациях в дороге. Мы решили подождать ещё, тем более что газеты все время дразнят, указывая день, чуть ли не час, приезда главнокомандующего.

В это время на нас падает неожиданный удар. Вечерние газеты сообщают в один прекрасный день об аресте видного советского деятеля С. Тов. С. всегда висел на волоске. Выходить на улицу ему приходилось с большей опаской. Неожиданный обыск нагрянул ночью. Жестоко избитого, в полубессознательном состоянии его доставили в контрразведку. Ещё в последние дни большевистской власти борьбисты у дверей своего клуба арестовали какого-то подозрительного субъекта, показавшегося им белогвардейским шпионом. Они привели его в клуб, допросили. Его путаные ответы и странные документы подтвердили подозрение; подумали, подумали и отпустили на все четыре стороны. Не тащить же его было в чрезвычайку — там без долгих разговоров отправляли в те дни на тот свет многих невинных. Этот-то субъект, запомнивший допрашивавшего его тов. С. и выследив его, и явился с агентами охранки к нему на квартиру. Через связи М. З. с адвокатским миром мы узнали, что его положение очень серьёзно, грозит неминуемый расстрел и всякие издевательства в застенках контрразведки. Необходимо извлечь его оттуда во что бы то ни стало. Если он будет отправлен в Лукьяновскую тюрьму, можно будет в ожидании суда затянуть дело, оттуда можно будет устроить побег. Для того, чтобы спасти тов. С., нужно 70 тысяч «царских» — и вот мы всячески стараемся достать эти 70 тысяч и вручаем из них 40 тысяч каким-то темным людям в большом опасении, что дело сделано не будет. Но С., действительно, переводят в Лукьяновку, и М. З. ведёт дальнейшие торги и разговоры с целой цепью подозрительных субъектов, которые знают все ходы и выходы и могут выручить нашего товарища. Деньги уплывают;

мы чувствуем, что стали жертвой шантажа, но отступить нет возможности: нам то обещают его освободить завтра же, то «ни за что не ручаются».

Наконец, газеты, описав пребывание Деникина в Одессе, сообщают день и час его прибытия в Киев. Генерал уже в дороге. Всем домохозяевам предписывается убрать дома флагами. Опубликован церемониал встречи. С нашей стороны для встречи тоже все готово, и мы напряженно ждем с полной уверенностью в успехе дела, назначенного в воскресенье. В пятницу вечером пошла я проведать прихворнувшего Костю и возвратилась очень поздно домой. Я застала ворота своего дома уже на запоре (после 12 запрещалось выходить из дому, а ворота запирались с 9), а во дворе прогуливался какой-то незнакомый господин с тросточкой — русский. Дом был сплошь населен евреями, и я знала приблизительно состав его обитателей. Господин показался мне подозрительным, и я решила идти ночевать к М. З., жившему неподалеку. Там едва дозвонилась у ворот и в квартиру, перепугала всех жильцов и наконец проникла в комнату М. З. Его дома не было. «Ушёл давно и не возвращался».

В эти полные тревожной напряженности дни, после Святошинского провала и ареста С., мы всегда ждали всякого худого, особенно для М., который возился все время с темной публикой по делу тов. С. Его отсутствие очень тревожило, тем более что ночевать, я знала, ему было негде. Потушила огонь, села на окошко и прислушивалась несколько часов подряд к шагам редких прохожих. Тревога росла. Наконец все кругом совершенно затихло — было три часа ночи. Что М. сел — я уже перестала сомневаться и только думала о тех последствиях, которые его арест может иметь для него и для судьбы дела, а сама все же чутко ловила всякий шорох за окном. Вдруг совершенно неожиданно, как гроза из ясного неба, мертвую тишину уснувшего города прорезал пушечный выстрел. Поднялись перепуганные галки, осевшие деревья бульвара — выстрелы заухали один за другим. Стреляли очень близко. Кто, откуда, почему, ни одного слова не было в газетах о приближающемся наступлении. Добровольческое правительство, казалось, расположилось основательно с чувством полнейшей безопасности. Через день предстояла торжественная встреча Деникина... До утра гремели выстрелы, и лишь с рассветом канонада стихла. Выбралась из дому, оставив на столе условную записку, назначив встречу на девять часов утра.

На базаре обычная суета. Все недоумевают... Боясь заходить домой, брожу по улицам, дожидаясь открытия кофеен. В назначенный час встретила с Михаилом. Оказалось, М. З. был срочно вызван на ночь к спекулянту в связи с освобождением С., судьба которого висела на волоске (100). Выстрелы объясняются неожиданным наступлением большевиков. Большая группа войск, отрезанная при отступлении Красной армии во враждебном лагере, пробивает себе дорогу и теперь ведёт бешеное наступление на Киев. Самым существенным делом во всем этом было для нас то, что о деникинском приезде, очевидно, теперь не могло быть и речи. Надо все снова хорошенько спрятать и притаиться самим. Днём спешно, панически бежали власти, и через Дарницкий мост потянулись вереницы беженцев. Киев отстоять не надеялись, но очевидно было, что займут его большевики не больше чем на неделю, так как сил у них было мало. Военные крупные чиновники, черносотенные журналисты, духовенство сочли для себя безопасней удалиться из города.

Контрразведка торопилась расстрелять наибольшее количество арестованных в Лукьяновской тюрьме; арестованных вызывают группами по алфавиту и расстре-

ливают пачками. Отчаяние порождает бунт. Ожидаящие своей очереди быть расстрелянными, арестанты взламывают замки камер, соединяют коридоры корпуса и могучей стихийной волной, сметая на пути все препятствия, выкатываются за ворота тюрьмы. Сотни бандитов без крова, без средств тоже вырвались на свободу. Им предстоит хорошая нажива во время междуцарствия.

К вечеру бои завязываются лишь на Еврейском базаре. Город погружается в ночную темноту; перестали работать электрические станция и водопровод. Десятки раз обстрелянный, всякие виды выдавший киевский обыватель приспособляется и к этой обстановке уличных боев. Вышедшие из ворот к городским колодцам, хозяйки стоят длинными вереницами в очереди, не обращая почти внимания на опасность: мне пришлось раз стоять в такой очереди. По ту сторону узенькой улицы в нижний этаж дома упал снаряд, разворотив стену. Вереница даже не дрогнула, лишь зорче и нервнее стали следить, чтобы никто не перебил очереди. Ночью из окна М-ой (101) комнаты мы смотрели, как «налетчики» взламывали забитые ворота дома напротив. Шёл дождь. Ночи стояли темные — фонари не горели. Там во дворе кто-то беспомощно побренчал сковородками и смолк. Ни одного освещённого окна по всей улице. Все притаилось и не дышит; ждать помощи неоткуда, защититься нечем. Единственное средство сохранить жизнь — это отдать все, что имеешь, поскорее откупиться. Вооруженные банды методически, не спеша, обходят квартиры, собирая богатую дань. Кто это, красные, белые или просто уголовные, те самые, что бежали из Лукьяновки. Во всяком случае, это сейчас самая страшная для обывателя сила в городе, безнаказанно хозяйничающая под прикрытием черной ночи. Так продолжается трое суток.

Сражение на улицах, рвущиеся снаряды... В перерыве канонады люди выскакивают из домов раздобыть себе пищи и воды. Вечером никто не зажигает огня: всю ночь мучительно прислушиваются к звукам на улице, и отцы семейств дежурят без сна у ворот со своими сковородками.

Через три дня большевики вытеснены из города. В город медленно начинает вползать потревоженная и озлобленная старая власть. Первым хозяином города является Шкуро (102) со своими бандами «волков» (103). (Были ли это именно шкуровские банды — установить точно мне не удалось. Так они рекомендовались часто сами, и таковыми их считало киевское население (104).) Город, очевидно, отдан им нарочно на поток и разграбление. Совершенно лишённые человеческих свойств, дико-свирепые и наглые шкуровцы, чувствуя за собой полнейшую силу и власть, принимаются за работу. Дело начинается простым разгромом еврейских магазинов на Крещатике и с легоньких грабежей и избиений на базарах и в еврейских кварталах, но к вечеру погром принимает страшный характер. Толпа днём совершенно не участвует, стихия не возбуждена. Это систематическое планомерное, невероятно жестокое избиение и ограбление еврейского населения, производимое военными под руководством офицеров. Лишь только начинают спускаться сумерки, выезжают один за другим для операции грузовые автомобили. Город разделен на районы, улицы — на кварталы. С хрипом подъезжают к забитым воротам грузовики, слезает человек 20 или 30 вооруженных, часто для чего-то замаскированных людей, вначале звонят, потом стучат, без труда разбивают деревянные щиты и вваливаются во двор. Начинают с нижних этажей, прикладами разбивают входные двери, грабят, разбивают, насилуют,

отнимают все дотла, с маленьких детей снимают башмачки и рубашонки. С русскими, скрывающимися у себя евреев, расправляются беспощадно. В доме поднимается звон разбитых стекол, крики, вой. Среди общей тишины терроризованного города, в ночной темноте воет и стонет пяти-шестиэтажный домина; сначала громко, отчаянно, истерически, затем глуше и глуше. Автомобиль нагружается всяким добром и, как насосавшееся крови злое насекомое, отъезжает с противным жужжанием. Следующий дом с трепетом ждет своей очереди. В открытые форточки беззащитные люди прислушиваются, откуда несутся стоны, где жужжит... Если это № 20, то нам, № 16-му, нужно ждать еще по крайней мере час, пока управятся с 18-м. Уйти некуда, спрятаться негде — у себя каждый как в ловушке — ждать пощады нельзя. Мы сбились в одну кучу: М. З., Маруся (лев. соц.-рев., не входившая в состав нашей группы), Стась со своей женой и я — в одной комнате сплошь евреями населённого дома. На двери у нас прибита карточка с моим чисто русским именем. К нам на квартиру, под защиту русских, приходят соседи, женщины приносят самовары и одежду, надеясь уберечь их от грабежа. Прислушиваемся в форточку к шуму грузовика где-то совсем близко. Крики несутся из соседнего дома. Люди жмутся друг к другу, плачут, молят, напряженные слух и воображение ловят отдельные доносящиеся возгласы слов. Резкие удары прикладов о ворота, грубый крик, треск отдираемых досок, ругательства, топот ног по лестнице, опять удары — ломают двери; испуганные, молящие голоса, дикие возгласы, хохот. Площадка за площадкой добираются до нас. Стоим со Стасем, приложив ухо к дверям. Читают карточку на двери. Стучат... «Мы не бандиты, мадмуазель, мы русские офицеры, откройте, пожалуйста». Вся площадка и лестница запружены вооруженными людьми; некоторые в синих очках, у других плотно закутаны башлыками головы — в руках шомполы. Всю группу освещает мерцающий огарок в руке шаркающего и пересыпающего речь французскими словами лощеного офицера. Долго и подло разговариваем мы с ним. Они уходят, извинившись за беспокойство и пожелав спокойной ночи... Только что успокоилась и улеглась до предела страха дошедшая набившаяся публика, как новый резкий стук в дверь заставил всех вскочить на ноги. Видно, дворничиха сказала про нас, что у нас евреи, и они вернулись. Теперь ничего уж не поделаешь. Дворничиха, свирепая русская баба, страшная ругательница, обзывала большевиком каждого насорившего во дворе и опоздавшего к запору ворот еврея и грозила донести, куда следует. Это было великое пугало всех жильцов. Отворили с чувством полной безнадежности. Была, действительно, наша дворничиха, но одна и совершенно неузнаваемая, принялась обнимать и целовать квартирантов и, плача, рассказывала о зверствах погромщиков в соседней квартире. Ушла, оставив нас изумлёнными. С утра тянутся по улицам и амбулаториям раненые женщины и подростки; плачут, встречая знакомых, рассказывают друг другу о пережитом ночью. Погром длится несколько дней. Люди перебегают из ещё не ограбленных кварталов в другие, где уже по несколько раз побывали погромщики, разбредаются по квартирам русских... Мало-помалу жизнь начинает входить в колею. Открываются магазины. Появляются газеты. В своем «Киевлянине» вернувшийся Шульгин (105) начинает форменную травлю, в циничных и лживых фельетонах он высмеивает евреев, которые воют и бьют стекла при одном виде военного грузовика, напоминает о жертвах чрезвычайки, говорит об их крови, вопиющей к мести. Чёрным по белому печатается ряд адресов квартир,

из окон которых стреляли во время большевистского налёта по Добровольческой армии. Номера домов и квартир, имена производят импонирующее впечатление достоверности и возбуждают в населении новую волну юдофобства, схлынувшую было под влиянием чисто-человеческой реакции на впечатления бойни (многие тогда пережили тот же процесс, что и наша дворничиха). Погром перекидывается в Слободку, на Подол и другие окраины, пока, наконец, по телеграмме самого Деникина, посланной им, как говорили, под давлением англичан, генерал Драгомиров (106), созвав войска на параде, не начинает проповедовать гуманность по отношению ко всем слоям населения и высказывает сожаление о допущенных добровольцами эксцессах. Разрешенная Лига борьбы с погромами (107) выпускает несколько запоздалых воззваний к населению, и в «Киевской мысли» появляются опровержения и доказательства абсолютной фантастичности списка еврейских квартир, опубликованного в «Киевлянине». Все до одного адреса по проверке специальной комиссии оказались вымышленными. Ни домов, ни квартир, ни тем более жильцов таких в наличности совсем не оказалось. «Киевлянин» рассчитывал лишь на легкоеверие и возбудимость читателя. Стихая в Киеве, погромы продолжаются на ж.д. (108) и в местечках. Особенной жестокости они достигают в Фастове. Здесь было 8 или 9 погромов подряд. Резали, расстреливали, вешали, сжигали живьем, на кострах из сложенной мебели, целые семейства. В Киев, как наиболее безопасное место, начинают стекаться беженцы. Ясно, что Деникина в Киеве мы не дождемся. Решаем ехать, вопреки всему, в Ростов. Отправляем вперед в Харьков Костю, Лену и Павла. Они едут налегке без нелегальщины. Их задача — до нашего приезда подыскать нам квартиру, произвести возможную разведку, разыскать харьковскую боевую группу. Мы с Михаилом должны извлечь деньги, динамит и паспортные принадлежности, зарытые в Святошине и Пуще-Водице, и выехать последними. Пришла ранняя зима со снежными ураганами и с внезапными оттепелями. Киев стоял весь белый, притихший, с опущенными снегом деревьями. Чудесный сосновый лес, где расположились теперь деникинские войска и недавно происходили сражения, был весь изуродован стрельбой. В крестьянском платье с большими мешками за спиной, как бы собирая шишки и поломанные стрельбой ветки, мы пробираемся мимо палаток, благополучно извлекаем все необходимое и на дне наполненных хворостом мешков проносим мимо часового на мосту несколько фунтов динамита, деньги и прочую нелегальщину.

В Пуще-Водице (109) стояла Дикая дивизия (110). Дачники уже разъехались, чеченцы жили в пустых строениях и тешились травлей отдельных не успевших или не имевших возможности выехать евреев. Деревень близко не было. Нашу прогулку в холод и пургу в лес, почти сплошь лиственный и очень редкий, нельзя было объяснить никаким благовидным предлогом. Операция извлечения поэтому оказалась очень сложной и опасной. Она заняла у нас целый день. Вымокшие и продрогшие, мы вернулись поздно ночью домой. Принялись упаковывать в дорогу свои вещи, придумывая способы провезти незаметно толстую пачку сотенных билетов, динамит и остальное. Поезда стояли из-за снежных заносов и бури, пронесшейся полосой от Киева на Харьков, испортившей телеграфное сообщение. Но дня через два за большие деньги мы заручились содействием носильщика и в первом же двинувшемся из Киева поезде получили возможность втиснуться в свше всякой меры

переполненную теплушку. Даже стоять в ней можно было лишь с большим трудом — некуда было поставить ноги из-за сваленных на полу мешков и чемоданов, и человеческие тела подпирали друг друга; духота была невыносимая, но все считали себя счастливыми уже тем, что едут, и не роптали. Поезд продвигался с бесконечными остановками среди чистого поля. Несколько раз пассажиры слезали, чтобы расчищать занесенный путь и рубить дрова для паровоза в лесу; один раз нас чуть не спустил под откос какой-то повстанческий отряд. Неожиданно на каком-то полустанке ввалилась в вагон толпа черкес — им нужно было ехать — и в результате мы все оказались довольно невежливо выброшенными прямо на открытую платформу, где стоял какой-то автомобиль. Уселись по краешкам платформы. Поезд двинулся — дул сильный ветер с позёмкой, на станции градусник показывал 10 градусов. Ехать на открытой платформе было очень тяжело, многие отмораживали себе руки и ноги, так как все были довольно легко одеты. Через некоторое время к нам на станции подошла и стала проситься на платформу женщина-еврейка с грудным ребенком на руках и двумя плачущими девочками, которые держались за её юбку. Её только что выбросили из какого-то вагона, она даже не прикрыла грудь и не застегнула пальтишек девочкам, и они стояли так скорбной группой под холодным ветром на морозе. Какие-то сердобольные люди все же «ради детей» приютили её в вагоне.

Мы совсем замерзали, ехать оставалось больше суток. Миша все время составлял мне живой щит от ветра, оберегая не столько меня, сколько «ребенка», как мы назвали одетый на меня динамит. Мы боялись, что наружные слои его могут замерзнуть, а динамит при оттаивании становится крайне неустойчивым и взрывается от малейшего толчка. К вечеру какие-то добрые люди сняли нас с платформы и взяли к себе в теплушку, там оттерли, отогрели, и мы сладко проспали на корточках в каком-то углу всю ночь. Проснувшись наутро, мы все с ужасом обнаружили, что наш вагон стоит с тремя другими на каком-то полустанке на задних путях, оторванный от остального состава. Поезд ушёл без нас, — очевидно, понадобилось прицепить несколько других вагонов. Было тут много слез и проклятий. Добрели мы до полустанка и стали ждать возможности ехать дальше. Среди дороги сесть в теплушку почти невозможно даже самому предприимчивому человеку. Вагоны наглухо заперты: можно умолять, умолять на глазах у счастливых пассажиров — дверь не откроется. Это хорошо знают все ездившие по железным дорогам России и в том числе мы. Раненые красноармейцы, только что выпущенные из больницы после тифа и получившие короткий отпуск, женщины с детьми могут вопить напрасно. Публика, забравшаяся в вагон, ревниво охраняет тот минимум доставшегося ей покоя и воздуха, который она взяла с бою. Если уж очень вопиющий бывает случай и человека впускают — он сразу же входит в тон и роль хозяина теплушки и так же беспощадно относится к другим, как только что относились к нему самому.

Через полчаса после того, как мы вошли в полустанок, подкатил стрелой и остановился огромный броневой поезд с надписью — «на Москву». Ехали черкесы очень свирепого вида. Немного поколебались и прыгнули на платформу для снарядов; за нами ещё несколько человек, и не успели мы оглянуться, как вся платформа была заполнена людьми. Черкесы, замахнув шомполами, стали сгонять нас с платформы. Посыпались мольбы, плач; мы догадались предложить денег. Черкесы смекнули сразу, что статья доходная, потолковали со своим офицером, и нам торжественно

разрешено было ехать до Харькова «по 2 керенки (111) с рыла». Заплатили и тронулись. Проехали одну станцию. Черкесы явились опять: офицер не велит — надо слезать; опять предложили по керенке и проехали ещё станцию. Черкесы быстро вошли во вкус игры, и мы платили всю дорогу по керенке за станцию под угрозой быть согнанными. Ехали весь день и всю ночь. Было так тесно, что мы согревали друг друга и тем, кто был в середине, страдать от холода не приходилось. Стояли на коленях, тесно обнявшись. Наконец, надоело платить; у многих, очевидно, не было больше денег. Стали платить те, у кого было, за неимущих. Несчастье породило солидарность. На нашей платформе ехало два армянина. Из них деньги вымогали довольно оригинальным способом. На полном ходу черкес, собиравший деньги, снимал с головы у отказавшегося платить армянина шапку и держал ее на весу над полотном: «Давай деньги, а то кину». Сначала угроза имела действие, и армянин платил. Затем он, очевидно, решил, что давно уже переплатил стоимость шапки, и продолжал упираться, закутав башлыком голову. Шапка полетела в пространство, и, чтоб получить деньги, черкес поднял корзину, которую тот вез с собою. Пришлось платить снова.

К утру у нас с черкесами установились даже довольно мирные отношения, и, когда рассвело, они везли нас бескорыстно до самого Харькова. Так мы и въехали торжественно в Харьков на белогвардейском броневом поезде. Тут нам пришлось довольно туго. Мы двое суток провели на ногах без сна и почти без еды. От динамита, несмотря на клеенчатые прослойки, сильно болели головы. Зашли в кафе, напились крепкого кофе и пошли на условленные места для встречи с Костей и Павликом. Никого нигде не застали. Пришлось идти по единственному имевшемуся у нас адресу к посторонним людям, которых мы могли очень стеснить своим визитом. На следующий день разыскали товарищей и расположились в приготовленных ими для нас квартирах.

Харьков представлял совсем другую картину, чем Киев. Здесь было гораздо больше духовной жизни: чувствовался университетский город. Бросилось в глаза множество книжных магазинов (сюда перекочевали из Советской России крупные книгопродавецские фирмы); театры, библиотеки; мелькали всюду студенческие фуражки. Фабрики и заводы были в полном ходу, и в пролетариате велась интенсивная, подпольная, конечно, партийная работа. Мы решили и здесь держаться строгого принципа полной изолированности от местной партийной организации и вошли в сношения лишь с харьковской боевой борьбистской группой, представительница которой, Вера А. (112), была у нас в Киеве за динамитом. Разыскали их не без труда. Они, оказалось, уже отменили свои боевые задания за их полной невыполнимостью и вошли в местную организационную партийную работу. В Харькове Деникин почти не бывает, а если приезжает, то экспромтом и быстро уезжает обратно. Они узнают о его посещении из газет уже после того, как он уехал. Вся их слежка не привела ни к чему. О Ростове они тоже имели самые безнадежные сведения. Даже при наличии связей и знакомых там просто нельзя найти квартиры. Провезти туда что-либо немислимо. Переезд и жизнь в Ростове будут стоить огромных затрат. Последние обстоятельства для нас имели большое значение, так как денег оставалось мало. Уже до нашего приезда в Харьков пришли первые вести о начавшемся стремительном наступлении беков на Харьков.

У меня была комната в семье одного инженера, сын которого служил в Добровольческой армии. Семья была очень интеллигентная и симпатичная, особенно старик, начитанный, гуманный и умный. Я имела паспорт жены поручика. Мой брат расстрелян большевиками. Моя фамилия одна из небезызвестных в добровольческих кругах. Хозяева отнеслись ко мне очень сердечно, звали к обеденному столу и за чаем внимательно и сочувственно расспрашивали о погибшем брате, о муже. Поддерживать разговор всегда было очень трудно, я рисковала напутать, и тяжело было обманывать искренне относившихся ко мне людей. Старик просиживал у меня в комнате целыми часами, давая книги из своей прекрасной подобранной богатой библиотеки. Я рассказывала ему, что собираюсь заняться в Харькове педагогической деятельностью, взяла у него рекомендацию к местным педагогам и объясняла своё ежедневное отсутствие беготней и хлопотами по организации частного детского дома. Всё шло как нельзя более гладко. Каждый вечер у сына-добровольца собирались товарищи-офицеры, велись откровенные разговоры о положении дел в армии: «Армия бежит, потому что она раздета. За осень никто не подумал, чтобы одеть солдата. Красноармейцы прекрасно обмундированы — наши босы, голы». Был открыт в городе сбор пожертвований, не давший никаких серьёзных результатов. Хотя никто ещё по-настоящему не верил в наступление беков (113), в кругах военных уже поговаривали о возможной эвакуации Харькова. Офицерство начало помаленьку переправлять семьи в Ростов и в Новороссийск. Немного ориентировавшись в общей обстановке, мы отправили Павла в Ростов: он должен был вернуться дней через 10, сообщить нам об условиях тамошней жизни и работы, проверить кой-какие адреса. Пока что мы собирали возможные сведения, какие нам могла дать местная публика, и вели переговоры с харьковской боевой группой. Вера А., как оказалось, имела кой-какие знакомства в Ростове. Она тоже совершила все свои путешествия и жила теперь в Харькове как жена замученного офицера. Красивая и представительная, ни при каких обстоятельствах не терявшаяся, она умела завязывать преоригинальные знакомства с нужнейшими людьми. В результате недолгих переговоров она решила ехать вместе с нами.

Между тем наступление продолжалось; в городе чувствовалась общая паника. Производились повальные обыски, аресты, открыто начиналась эвакуация. Павло не возвращался. Мы снарядили, не дожидаясь его, Костю с Леной, достали билеты уже по бешеным спекулятивным ценам. Уехала Вера, увозя с собой часть динамита и денег. Мы с Мишей оставались опять последними — ждали результатов одной денежной операции: царские деньги очень поднялись в связи с наступлением беков, мы рассчитывали обменом несколько поправить свой бюджет, надеялись также дожидаться Павло, чтобы не ехать с динамитом в абсолютно незнакомый город без предварительных указаний.

Газеты, которые до сих пор держались совершенно спокойного и уверенного тона, начали бить тревогу. Объявлена была всеобщая мобилизация, которая тут же стала производиться под самым жестоким давлением. Михаил все время ухитрялся снабжать нас прекрасными документами собственного производства, которые всех выручали при всех обстоятельствах от подозрения и мобилизации. Теперь стало труднее и единственным выходом являлось — уехать как можно скорее. В несколько последних дней Харьков совершенно преобразился. Киев умеет жить неделями,

месяцами под грохот несмолкаемой канонады боев, происходящих вокруг него, — совершенно нормальной безмятежной жизнью. Харьков, не слыша ещё ни одного выстрела, весь сорвался с места. Тянулись непрерывные обозы с товарами, военным имуществом, частными пожитками. К вокзалам уже не было доступа, и билеты выдавались лишь по особым удостоверениям, особой категорией лиц по записи в железнодорожной охранке и с разрешения эвакуационной комиссии. Мы сунулись туда-сюда — билетов не получили. Кто-то из пассажиров в очереди сказал, что завтра уходит последний пассажирский поезд. Кинулись на вокзал. Мише туда подойти нельзя было — ловили дезертиров именно около вокзала. Был издан указ местной властью о запрещении железнодорожным служащим спекулировать железнодорожными билетами под страхом смертной казни. Прошла вокзал одна, потолкалась — никого, кроме военных. На меня стали поглядывать носильщики, очевидно догадываясь о цели моего прихода. Подошёл один: «Вам билетик-с. Тут один офицер продают, 50 тысяч». — «На завтра? Для дамы они с удовольствием, потому будто жена». Мы условились, что к 6 часам утра на следующий день я буду на вокзале и получу билет. В задаток взял 25 тысяч себе, — следующие при посадке. Спрашиваю про Михаила. — «Ну, тут уже никак не поможешь, потому что он молодой человек, военнообязанный». — «Ну, а если постараться», — всякими соблазнами добиваюсь того, что носильщик соглашается провести «молодого человека» задами к стоящему в 2 верстах на пути интендантскому поезду, «а там уже их посадят и отвезут до Ростова — документов не спросят» — предупредительно добавляет он. Условившись, где встретиться, мы мчимся на Мишину квартиру, набиваем кой-какие вещи в его чемоданчик и вовремя поспеваем к вокзалу. Носильщик ждет добросовестно. Ещё раз уславливаюсь о завтрашнем билете, беру с носильщика самые страшные клятвы. Пожимаем друг другу руки, и Миша исчезает со своим проводником в темноте какого-то переулочка. Доедет ли? Как доедет? Встретимся ли в Ростове?.. Остаюсь в Харькове одна. И если я не выеду завтра, товарищи останутся без взрывчатых веществ (Вера взяла с собой очень мало), без денег, без паспортного бюро — все это должно уехать со мною.

Дома мой внезапный отъезд никого не удивляет. Киевская беженка, беки идут на Харьков, значит, мне остается только бежать в Ростов. Меня предупреждают о совершенной невозможности как-нибудь устроиться в Ростове. Советуют ехать в Новороссийск. В общем, моим хозяевам не до меня. Уже неделю лежит в сыпняке мать, и вчера свалился сын-офицер. Старик и бледная чахоточная девушка — дочь ухаживают за больными, на них лица нет. Выехать нельзя — больной добровольческий офицер уйти с полком не может. Останется в Харькове на верную гибель. Всю ночь шью, клею, упаковываю и в 4 часа утра выбираюсь нагруженная чемоданом и корзиной из дому. Надо идти через весь город — извозчика теперь вообще достать трудно, а в эти часы невозможно. Добралась наконец. Ставлю в уголок вещи и ищу глазами носильщика. Его и след простыл; взял мои 25 тысяч и кончено; с кого теперь спрашивать билет. Простояла в условленном месте часа полтора. Подходит какой-то штатский хорошо одетый пожилой господин. «Вы не тревожьтесь, — говорит, — всё сделано: надо только, чтобы кассир отметил ваше имя в книге — плацкарты именные». Ничего не поделаешь — говорю своё имя и опять стою одна в полной неизвестности. Начинает собираться публика: идут, идут к поданному поезду сотни людей с вещами, корзинами: проносят больных на носилках, суета, паника, слышны

разговоры о том, что поезд переполнен, что больше не пускают, что надо тщательно проверять плацкарты. Первый звонок — никого — я все стою, просто в глазах темнеет от тревоги; второй звонок — синее: стою, не зная куда кинуться, боясь разминуться с каким-то неведомым мне теперь лицом, от которого зависит судьба моя, моих товарищей, моего дела. Третий звонок — поезд начинает пыхтеть. Вдруг какая-то стремительная фигура схватывает мои вещи и мчится со мною на перрон. В руках у меня билет и занумерованная плацкарта. У вагонной площадки давка, военные грубо разгоняют набирающуюся публику. Меня по какому-то таинственному знаку носильщика пропускают — «Вещи придется сдавать, сколько у вас мест?» У меня их три: в корзинке костюм, белье, все мои вещи; в другой провизия; в третьей — чемодан с паспортным бюро и деньгами и маленькой подушечкой — думкой, сухим пиросилином, с несколькими книгами, положенными для виду. Динамит, капсулы с гремучей ртутью на мне. Оставляю просиявшему носильщику весь мой гардероб и изящную корзинку с не менее изящной, для виду, провизией. Крепко стискиваю ручку чемодана и протискиваюсь внутрь вагона. Поезд почти сразу трогается. Едва успела вручить при расплате, якобы за подачу вещей, остальную сумму своему благодетелю, честнейшему спекулянту в мире. Позднее мне стала понятна необычайная конспиративность, с которой мне вручили билет так, что я абсолютно не знала, с кем имею дело. В вагоне я услышала, что в эту же ночь повесили для примера в здании вокзала носильщика, продававшего билет. Он, оказывается, и теперь висел на вокзале — я только не видала его из своего угла. Это, действительно, был последний пассажирский поезд. Сюда попала лишь высококвалифицированная, с белогвардейской точки зрения, публика. В одном вагоне со мной едет семья Романовского (114) — начальника штаба Деникина — какие-то очень душистые и нарядные дамы и семьи крупных чиновников, несколько крупных дельцов тоже с семьями и прислугой. Вагон набит до того, что нельзя шевельнуться. Люди сидят, лежат, стоят; вещи навалены беспорядочными грудями, много времени ушло, пока расселись и нашли друг друга и свой багаж. У каждого должна быть занумерованная плацкарта — лишних быть не должно. Тот, кто находит свой номер, сбрасывает незаконных пассажиров; во всех углах ссоры, плач, женский истерический визг — хуже куда, чем в теплушке. Кто-то предлагает проверять плацкарты, смотрю на свой номер — два нуля поставлены, конечно, лишь для виду, при проверке я вылезу как нельзя лучше на полотно со своим чемоданчиком. В вагоне два еврея-сахарозаводчика с женами и матерями. Они держатся очень независимо, тоже «бегут» от большевиков и имеют, очевидно, все основания требовать себе места в почетном вагоне. Расселись, повинимали провизию. Вспоминаю свою корзинку, оставленную на вокзале. Очень неловко, что у меня нет с собой провизии. Духота невыносимая, сижу на чемоданчике в проходе между скамейками. Вскоре все перезнакомились, узнали, кто, куда и почему торопится уехать из Харькова. Мои односложные ответы видимо не особенно нравятся публике. Кое-кто на меня косится; кто-то говорит, что под видом беженцев пробираются в тыл к Деникину нередко большевистские шпионы — но вскоре мне удается найти правильный тон, оказать несколько деликатных услуг страдающим от духоты и тесноты дамам, чем-то заинтересовать и успокоить плачущего ребенка. Свою выносливость и приспособленность к невозможным условиям переезда объясняю тем, что долго работала в немецкую войну сестрой на фронте, совершали с мужем

по Сибири длинные переходы. Темнеет. О сне не может быть и речи. На какой-то остановке ночью врывается к нам в переполненный вагон ватага юнкеров: «Мы военные, нам нужно ехать — потеснитесь». — «Потесниться абсолютно некуда». — «А нет ли тут жидков, мы их сейчас повыбрасаем, и легче станет». — «А, евреи тут есть, конечно, кой-какие лица семитического происхождения, — тянет пожилая дама с лорнетом, — и, разумеется, смешно было бы стесняться удалить их, чтобы дать место нашим доблестным защитникам». Через миг самоуверенный сахарозаводчик в сопровождении 2 юнкеров, которые предупредительно несут его кожаные прекрасные чемоданы, выходит на перрон. С другим обращаются менее деликатно. В темноте, слышу, кто-то дергает меня за рукав. «На минуточку». Протискиваюсь в соседнее отделение: «Слушайте, вы русская, но вы добрее их, узнайте, что делают с моим мужем, заступитесь», — смотрят глаза, полные слез, одетой в дорогие меха красивой молодой женщины. Как бы я ни хотела помочь, рискуя привлечь на себя враждебное внимание и в лучшем случае быть выброшенной из вагона — я все же, конечно, не смогла бы ничего сделать в этой ненавистнической обстановке. Отвечаю: «Извините, сударыня, — я ничего не могу сделать». Красивые глаза смотрят с горьким упреком, а потом загораются негодованием. Через полчаса поезд движется, сахарозаводчик возвращается, пожертвовав своими чемоданами, которые «пришлось задержать для обыска», остальные, и муж дамы в том числе, не вернулись.

В 9 часов вечера на следующий день высаживаюсь в Ростове, никто не обыскивает, никто не обращает, по-видимому, никакого внимания. Вокзал переполнен беженцами, — тут ничего не разберешь. Не говоря уже о дамской, где буквально один на другом, на полу, столах и подоконниках стоят, скорчившись, и «отдыхают» женщины и дети, — зала, буфет, все коридоры и проходы — все буквально завалено человеческими телами и вещами.

Сдаю свой чемодан на хранение и сразу же выхожу в город по единственному имеющемуся у меня адресу Вериных знакомых. Меня поражает полная пустынность улиц — встречаются лишь редкие военные фигуры. Наконец, спрашивая у прохожих дорогу, нахожу указанный дом. Подъезд наглухо заперт, ворота тоже; стучу — ответа нет. На улицах ещё более пустеет. Возвращаюсь на вокзал, попытаюсь прийти завтра. Соседка моя по месту на полу — молодая грустная дама в трауре. Быстро знакомимся. Вдова офицера, убитого в первых же боях в пластунском полку. Был студент, интеллигентный, молодой и талантливый музыкант. Только что повенчались. Тут Октябрьская революция: «Каледин» (115). Шли на защиту Учредительного собрания России. «Я сама его посылала. Не сидеть же было дома, когда все шли. Он погиб в первом же бою. Без него родился сын. С трудом выбрались из Одессы на поиски его тела. Вот — объездила и исходила все станции, где бывал и скитался полк. Ничего, конечно, не добились и ничего, кроме насмешек, не видала от людей... Знала бы, во что выльется эта Добровольческая армия, ни за что не пустила бы его». Она очень молода, искренна и грустна. «Ведь какие орлы были тогда — они все погибли; а это — Дикая дивизия и погромщики». В полночь с диким положительно ревом врывается в дамскую комнату несколько человек чеченцев из какого-то, так говорили, карательного отряда. «Ну, выметайся; дезинфекцию делает будэм». Всех буквально, по-демократически, не различая ни возраста, ни общественного положения выгоняют на улицу — мы располагаемся под морозящим снегом, дождем прямо на мостовой

и дрогнем до утра, пока из пожарной кишки обдают горячей водой стены и пол вокзала. В городе свирепствует невероятная тифозная эпидемия — вокзал, переполненный беженцами, является главным ее рассадником. Уже третья ночь совсем без сна и отдыха, и очень стесняют тяжесть и ядовитые испарения надетого на тело динамита. Почему так пустынно было вчера? Спрашиваю у публики. Оказывается, вчера был последний день 3-дневного сбора пожертвований или, вернее, конфискации теплых вещей в пользу Добровольческих армий. В эти три дня жители Ростова должны были заранее запастись всем необходимым и просидеть безвыходно дома. Это делалось для предотвращения переноса имущества гражданами из ещё не обысканных домов в уже обысканные и утаивания, таким образом, необходимых для Добровольческой армии теплых вещей. Утром снова иду по адресу. «Вера Петровна, действительно, заходила, и даже вот стоит её корзина, но вот ушла несколько дней тому назад и не вернулась. Сами не знаем, где она». Мне не предлагают ни остановиться, ни поесть, ни отдохнуть. Выхожу опять на улицу. В газете нахожу условленное объявление, помещённое Павло, «даю уроки латинского языка», фамилию и адрес... указанный дом и квартира оказываются вымышленными. Начинаю ходить по столовым просто для того, чтоб иметь кров и стул для отдыха. В четыре часа иду по назначенной явке в старый собор — никого. Под вечер в полном отчаянии возвращаюсь на вокзал. Ночью опять та же процедура с той только разницей, что и утром нас в вокзал не пускают до открытия кассы в девять часов. Пробираюсь со своей новой знакомой в зал 4-го класса с другого подъезда, и там в углу мы спим на полу часа два, пока не будят те же черкесы, которые, с воем и гиканьем прыгая по скамейкам и телам спящих людей, поощряя шомполами, выгоняют публику из вокзала. Пускать будут лишь тех, у кого есть билет или удостоверение на дальнейший проезд, для остальных вокзал не ночлежный дом. Снова брожу по улицам, два дня праздника — адресный стол закрыт. Можно бы там попытаться. Останавливаю прохожих, спрашиваю, нет ли у кого угла, комнаты (многие так вымаливают себе приют). Захожу во все условленные места — опять никого, иду в университет, где мы условились встретиться с Михаилом, опять к Вериным знакомым — никого. Толкаюсь на базаре — спрашиваю у торговок, не знают ли где возможно поместиться, и к вечеру опять иду на вокзал. Выход один — взять билет на Новороссийск. Это даст мне возможность прожить на вокзале ещё два дня. Записываюсь в очередь, получаю удостоверение, и завтра утром получу билет. Моей знакомой дамы уже нет — на её месте лежит у стенки молоденькая армянка, производящая очень странное впечатление. Она княжна с Кавказа, только что вернулась из Таганрога — живёт в Нахичевани (116), боится вечером идти в город и решила переночевать на вокзале. Она очень много говорит совершенно несуразного, проникнутого чисто восточной фантазией. После ночного бдения на улице становлюсь в хвост у кассы. Выкликают по имени, чтобы выстроить очередь. «Анна Павловна Г.», называет чиновник мое имя. Внезапно стоявший впереди меня господин резко поворачивается и пристально всматривается в лицо. «Анна Павловна, ба! А Владек где?» — Владек — это мой паспортный муж, живой настоящий человек — офицер Колчаковского стана. Паспорт его жены попал через 3-и руки ко мне и сослужил мне во всех моих странствованиях по белому лагерю большую службу. Какой Владек? Недоумеваю я. — Господи, да ведь он с этим же поездом едет в Новороссийск — вот я и билет для него беру, да разве вы с ним не встретились... Очевидно, он знает меня

лишь по имени и настоящей Анны Павловны никогда не видел. Меня буквально бросает в холодный пот. «Тут, видно, какое-то странное совпадение, — смеюсь я в ответ, — посмотрим вашего Владека», — перевожу разговор на тесноту и неудобство ночевки на улице. «Вы подержите на минутку мою шаль, молодой человек, я выпью у буфета стакан чаю...» — «О, с удовольствием». Расталкиваю спящую армянку. «Едем скорее к вам, возьмите меня к себе на недельку — я заплачу хорошо за угол. У меня извозчик, я вас довезу, смотрите, какой у вас тяжелый багаж». Я нагромождаю один на другой самые убедительные доводы и беру натиском. Через пять минут я еду, не оглядываясь, куда-то к совершенно неведомому мне полусумасшедшему человеку, ясно представляя себе недоумение явившегося Владека и молодого услужливого человека, оставшегося с моей шалью в руках у билетной кассы. Нехороший город Ростов, как казарма. Летом Дон и зелень очень украшают его; а теперь широкие улицы, некрасивые ординарные здания делают его скучным и холодным; несмотря на невероятное переполнение города, он не кажется особенно оживлённым. Лишь на Садовой и днем и ночью идет какая-то бессмысленная толчея. Нет ни нарядного изящества Киева, ни деловитой харьковской суеты. Тут все ненадолго. Военные, военные без конца, военные проездные люди, с бесконечным цинизмом, третирующие штатских и простой народ. Нередко видишь, как офицер, которому лень идти пешком, подзывает занятого извозчика, ссаживает бесцеремонно седока, будь то женщина, старик, и едет, куда ему надо, конечно, бесплатно. Нередко видишь, как недовольный плохо вычищенным сапогом военный пинком ноги опрокидывает лоток чистильщика-армянина, рассыпая по мостовой его баночки и щеточки, уходит и оставляет того безропотно ползающего по мостовой, подбирающего свой товар. По вечерам пьяная компания золотой молодежи, шатающаяся от ресторана к ресторану, задевая прохожих.

Рабочих совсем не видно в центре, даже в праздники, и первое время мне казалось, что странно будет видеть среди военных околышей студенческие фуражки Миши и Павло.

Едем без конца вдоль Садовой, затем по мосту мимо площади, отделяющей Ростов от Нахичевани, сворачиваем какими-то узенькими улочками и наконец останавливаемся у очень непрезентабельного вида хибарки. Через пропитанный кислым запахом коридор, под воркотню рано потревоженной квартирной хозяйки втискиваемся в крошечный чуланчик с маленьким покривившимся окном. Одна стена покрыта сыростью, с отставшими мокрыми обоями. На другой — висит ковер, ковром покрыта широкая, занимающая почти всю комнату кровать с грязными подушками; ковер лежит на грязном полу. В углу сундучок. Больше никакой мебели в комнате нет. «Ну, вот, тут я живу, можете спать на ковре». Утомлённая рядом бессонных ночей и тревогами, засыпаю как убитая. Просыпаюсь часа в два дня — хозяйки нет в комнате. Пользуюсь этим, чтобы снять с себя динамит. Она возвращается веселая, возбужденная, с какой-то едой и кипятком из трактира. Пьем чай, и весь вечер, лежа на ковре, слушаю «сказки тысячи одной ночи» об удивительнейших приключениях княжны, из которых для меня выясняется её печальная профессия. Мы лежим в полной темноте, так как не имеется ни лампы, ни свечи, и наконец моя соседка засыпает, а я долго ворочаюсь на своём ковре, мерзну и стараюсь привести в порядок весь сумбур впечатлений и придумать план дальнейших действий: я совершенно одна.

Доехали ли товарищи, целы ли — не знаю. Найти их — одна единственная зацепочка — корзина Веры А., оставленная ею у знакомых на Пушкинской, ведь должна же она когда-нибудь прийти за нею. Особенно тревожит отсутствие Миши — он выехал раньше меня; я знаю его пунктуальность, его бережные опасения заставить себя ждать, беспокоиться. Мы вообще выработали все огромную бережливость в этом отношении друг к другу. Опоздаешь на пять минут и знаешь, с какой тревогой ждет тебя, следя за часовой стрелкой, товарищ. Не зная города, мы не могли заранее дать друг другу точных мест для встречи. Возможно, что неудача с Костей, мной и Павло объясняется какой-нибудь путаницей в явках. С Михаилом же мы условились точно о встрече в вестибюле университета, и путаницы быть не может.

С утра напяливаю снова свои доспехи, боясь оставлять их дома, и выхожу, решивши во что бы то ни стало разыскать кого-нибудь сегодня. Оставляю у В. знакомых записку ей с местом свидания для Веры, стараюсь как можно больше быть в столовых, надеясь на случайную встречу, брожу по Садовой, захожу в собор и наконец сталкиваюсь, уже выходя из университета, нос к носу с входящим Михаилом. Оказывается, интендантский поезд отвез его лишь до ближайшей крупной станции, и ему пришлось пробираться в очень тяжелых условиях с большими задержками, больше самому. Приехал только в этот день утром. Удача за удачей — находим сразу всех. На улице Михаил встретил Павла, который знает адрес Кости и Лены. Все оказываются без квартир, ютятся в углах. Михаил имеет пристанище в ванной комнате и спит в самой ванне. Павло устроился где-то на чердаке. Особенно туго пришлось Косте с Леной. Костя дорогой расхворался — она привезла его совершенно больного и жила с ним несколько дней в столовой кинематографа и на бульварах, не имея где приткнуться, пока какая-то торговка на базаре не отвела их, сжалившись, к себе. Они получили за сто рублей в день (фунт белого хлеба стоил в Ростове 4–5 рублей) койку в углу на полу в низенькой комнате, где кроме них было ещё 6 человек взрослых и двое детей. На этой койке Костя провалялся между жизнью и смертью в жару и бреде целую неделю и теперь помаленьку поправлялся. Хозяева освободили им рядом крошечную комнату с протекающим потолком и совершенно мокрыми стенами, затхлым ужасным воздухом. Это для нас был целый дворец.

У Веры, которая устроилась, благодаря знакомствам, лучше всех, я сняла в отсутствии её сожительницы стеснявшие меня вещи, умылась и ожила. Вечером мы сошлись в столовой — друг к другу мы почти не ходим из конспиративных соображений — и сразу приступили к выработке плана работы. Мы знали по газетам, что во вторник предстоит в Ростове заседание Верховного Совета (117) и Деникин будет на нем. Где, в котором часу это будет, мы не знали, и потому первое, что необходимо сделать, это поставить наблюдение за вокзалом на весь день с раннего утра. Ближайшей задачей является найти квартиры и хоть одну такую, где можно было бы работать над изготовлением снарядов: необходимо закупить кое-что: асбест, стеклянные трубки, нужно как-нибудь возместить потерю оставленных на Харьковском вокзале костюмов и белья. Каждый получает работу до понедельника, и мы расходимся радостные, уверенные в успехе, окрылённые удачной встречей. С помощью Вериних знакомых нахожу полкомнаты, отделённые от другой половины занавеской. Соседки курсистки, целый день отсутствуют. Здесь мы сможем работать над снарядами. Во вторник наше вокзальное наблюдение не дает почти никаких результатов. Часа в

4 приехали какие-то «высокопоставленные» из Таганрога. Это мы установили по усиленной слежке шпионов вокруг вокзала, по освещению парадных комнат. Три автомобиля промчались от парадного подъезда в город. Куда — бог знает, как уследишь за автомобилем. Счастливая случайность тоже помогла нам в этот же день напасть на след заседаний Верховного Совета. Недалеко от своего дома Михаил случайно заметил вечером у подъезда углового особняка странное скопление военных автомобилей и усиленную шпионскую работу во всем районе. За тяжелыми драпировками зеркальных окон долго виднелся свет. Ночью автомобили разъехались один за другим, и некоторые по направлению к вокзалу. Это, несомненно, было какое-то военное правительственное заседание. Решили всячески наблюдать за этим домом. Через несколько дней Вера узнала от своих знакомых, что заседания Верховного Совета бывают где-то именно на этой улице. Весь центр тяжести наблюдения мы решили перевести с вокзала на этот дом. На следующей неделе опять во вторник начался в пять часов съезд автомобилей. Сменяя один другого каждые четверть часа, чтобы не обратить на себя внимания, мы заметили, как напряженно ждали шпионы и полицейские чьего-то прибытия, и в подъезд мелькнула высокая военная фигура — напряжение ожидания сразу упало. Сильно мешала темнота. Пробовали проходить мимо подъезда во время заседания — не пускают: велют переходить на другую сторону. Мы решили следить за домом ежедневно и продержат его почти под непрерывным наблюдением до следующего вторника. За это время бывали тоже какие-то заседания и приезжали, очевидно, из Таганрога, но Деникин не приезжал. Мы установили за это время только фигуры нескольких шпионов и обычный маршрут шоферов. Автомобиль либо сворачивал сразу же на Таганрогский, либо переезжал ещё два квартала по улице, только тогда спускался к Садовой. Необходимо было иметь 4 поста и по возможности атаковать автомобиль сразу двум человекам. Если первым снарядом будет лишь испорчена машина — вторым удастся поразить пассажиров. Во вторник Михаил встретился лицом к лицу с проезжавшим Деникиным, которого мы хорошо знали по портретам. Теперь оставалось приготовить снаряды и в следующий вторник уже занять посты и действовать. Если не удастся в первый раз — второй раз обеспечен. Очевидно, генерал ездил всегда в одном и том же открытом автомобиле — все сведения наших разведок оказались сильно преувеличенными. Неделя прошла в спешной подготовке снарядов. Делал их Михаил в моей комнате за занавеской. Неожиданно на нас свалилось несчастье. Захворали Вера и Лена. Первая брюшным, вторая возвратным тифом. Веру удалось устроить в больницу — Леночка лежала дома в ужасных условиях, почти без ухода, так как Костя был постоянно в отсутствии. Между тем наступление большевиков продолжалось. В Добровольческой армии росло недовольство недостаточной помощью Антанты, выдвигалась германская ориентация, имя Врангеля — звезда Деникина меркла.

** **

Харьков был уже взят (118). Мы решили выполнить дело во что бы то ни стало в ближайший вторник и ни на один день не выпускали из-под наблюдения особняк на углу. В пятницу утром Михаил явился ко мне, как обычно, для работы, но совершенно больной, с высокой температурой. Три дня он еще промучился дома в своей ванне, боясь поверить тифу и выходя из дома с 40 градусами, а на 4-й день я везла уже свалившегося окончательно с ясно выраженным сыпняком в городскую больницу, а

оттуда в загородный барак, где больные лежат вповалку на полу и нарах, живые с уже мертвыми, без всякого ухода и медицинской помощи умирают все поголовно. Удалось случайно устроить его несколько лучше других в изоляторе, а на 8-й день болезни мы перевезли его в хорошую частную клинику, где тоже было переполнено и содержание больных стоило бешеных денег. Делала сама снаряды, но во вторник мы вышли без них, так как необходимо было нам каждому хоть раз увидеть Деникина в лицо, а не только следить за знакомым автомобилем. Затем заседания Совета начали назначаться через день, потом каждый день, но уже происходили где-то в другом месте, а наш дом затих и погрузился в темноту. Втроем целыми днями мы рыскали буквально по всему городу, следили за всеми сколько-нибудь подозрительными пунктами, но заседания, очевидно, были очень законспирированы — а на вокзале мешала шпионская и военная охрана и погода стояла все время ужасная. Ветер со снегом слипал глаза, мороз доходил до 25 градусов, что в Ростове бывает крайне редко. Невозможно было примириться с мыслью, что все наши усилия, огромные затраты партийных денег и времени пропадут даром. Наконец, свалился опять Костя, не вынесший ежедневного промерзания. Нас осталось двое, деньги были на исходе. Болезнь товарищей требовала все больше затрат и забот. Мы начали продавать понемногу вещи на толкучке. Павло взял несколько уроков. На дело после болезни Кости мы почти махнули рукой, тем более что наступление продолжалось и уже поговаривали об эвакуации Новочеркасска, — очевидно, предстояло отступление белогвардейцев на Кавказ. Ехать нам в Новороссийск, м. б., имело смысл, п. ч. (119), как это уже не раз бывало в борьбе между красными и белыми, военное счастье могло круто измениться, и с той же стремительностью, с какой велось теперь красное наступление — красноармейская волна могла отхлынуть обратно. Но денег у нас совершенно уже не было, и 4 человека лежало больными. Мы только боялись свалиться сами. Это было бы равносильно общему провалу, т. к. некому было бы убрать нелегальщину, платить за больных товарищей и поддерживать ту сеть лжи, которой мы спасали себя от подозрений во всех обстоятельствах.

Была объявлена всеобщая мобилизация. Брали больных, полукалек, подростков. Костя больной лежал дома и не подвергался опасности быть забранным в Добровольческий полк. Павло же не представлялось никакой возможности ускользнуть, и он решил перейти фронт и пробраться к красным. Между тем Ростов все больше наводнялся добровольческими войсками, отступавшими к Батайску; Ростов, очевидно, не надеялись отстоять и стягивали силы в укрепленный еще немцами Батайск, где имелись бетонные траншеи, положение которого за Доном и широкими непроходимыми болотами представлялось очень выгодным. Батайск так долго не сдавался немцам, что его в шутку называли русским Верденом. Войска шли и день и ночь непрерывной струей по улицам Ростова. Все частные квартиры были запружены расположившимися, как дома, солдатами. Еврейское семейство, где я жила, принуждено было принять к себе человек 20 солдат, которые заняли смежную с моей комнатой столовую. Настроение у них было крайне упадочное. Бранили на чем свет стоит своё начальство, проклинали судьбу, считали себя погибшими. Всю ночь шло у них пьянство и игры в карты на награбленные деньги и драгоценности. Моя соседка — курсистка лежала в тифу, — мы этим спасались от вторжения к нам этой распущенной разложившейся солдатской банды. Унесли динамит к Косте и сами старались почаще ночевать у них.

В одно морозное утро постучал к нам в окно какой-то белогвардейский офицер — это прощался уходивший Павло. Проводили его с тяжелым чувством. Предприятие было больше чем рискованное. Бешеным ураганом летела Буденовская конница, далеко опередившая остальные войска. Ростов представлял из себя странное зрелище. Это был сплошной поток людей и экипажей, двигавшихся в одном направлении и слившихся на Таганрогском проспекте в сплошную реку, запрудившую улицу до того, что прекращалось всякое движение и вереница телег, кареты, полки стояли часами, ожидая возможности двинуться дальше на набережную и на мост. Все решительно продукты забирались военными и беженцами, жители по ночам подкрадывались потихоньку в булочную за хлебом.

Однажды утром, запасшись 2 караваями, я пробиралась с трудом через людской поток к больным Косте и Лене. У Нового собора я увидела издали какую-то возвышающуюся над толпой белую фигуру — точно оратор на возвышении что-то говорит толпе. Подошли — висит на дереве человек в одном белье — на груди доска «дезертир», толпа глазеет; на другой стороне в pendant (120) к этой виселице другая — с надписью «большевик»; дальше женщина — и вывеска гласит: «За длинный язык». Она высказала возмущение при виде повешенных и была тут же казнена.

Ребятишки, захлебываясь, передают друг другу: «И там на Екатерининской тетька висит с девчонкой, а на вокзале 4 дяденьки» — и тянут друг друга смотреть любопытную новинку. Зашли к Мише. Из больницы эвакуируют больных белогвардейцев. У всех соскабливают в скорбном листе звание и пишут «гражданин». Миша лежит уже в палате для выздоравливающих, рядом с ним какой-то белогвардейский чиновник. Лицо измученное, в слезах. «Меня оставили, забыли»; он дает поручение жене, адресованное в какое-то учреждение, рядом со мной на Таганрогской. Вечером иду по адресу. Жена чиновника уехала накануне. В её квартире уже какой-то временный штаб — едва выбралась. На лестнице ящики, солома, веревки. Это было в сочельник. С утра пал Новочеркасск, а к вечеру пулеметы уже трещали вокруг самого Ростова. Рождественская всеобщая была ещё отслужена, как я позднее узнала, в присутствии самого Деникина в Новом соборе, в Совете которого трупы повешенных украшали деревья. Ночью завязались под Ростовом бои и продолжались весь 1-й день Рождества уже в самом городе. Мы сидели каждый дома, отрезанные друг от друга. На 2-й день Рождества в окно увидели большевистские красные звезды, но трудно было отличить по виду буденовских казаков от белогвардейцев. Бурки, папахи. Вылезли из дому: надо проведать больных, — на Таганрогском ещё трещал пулемет, и слышались отдельные ружейные выстрелы. Улицы мертвы. Какой-то мужчина, крадучись вдоль стен Старо-Почтовой, заглянул за угол на Таганрогский и сразу отпрянул. Дошли до него. Нам обоим нужно пойти до зарезу. Пошли вместе. Весь проспект залит кровью. Валяются трупы лошадей, людей, какие-то покалеченные брошенные военные повозки. Артиллерия обстреливает мост. На углу Старо-Почтовой и Таганрогского дымится догорающее здание лазарета. На железных балках внутри, зацепившись ножками, свисают больничные койки — на них обуглившиеся трупы; внизу, в гуде дымящихся обломков, отдельные человеческие члены, кости. Сгорел весь тифозный лазарет со всеми больными — говорят, подожгли белые своих же больных солдат: «Либо все равно погибнут, либо красным передадутся...» — но это только слух. Здание могло загореться, конечно, и случайно от залетевшего снаряда или быть спалено пья-

ным персоналом. Тушить ещё было некому... Выходим на Садовую. Там уже началось уличное движение. Вышли, очевидно, лишь те, кому очень уже нужно. Всюду кровь, трупы. На тротуаре что-то белеет; 8–10 человеческих тел в одном белье, все истыканные штыками, иссеченные шашками лежат у подъезда какого-то частного лазарета. Это забытые белогвардейские тифозные офицеры, вытащенные будёновцами из постелей и зарубленные. Дальше по всей Садовой трупы, и не военные, а так, видно, случайные участники боев — все люди бедно одетые, рабочие, много подростков — их никто не убирает, около некоторых уже возятся собаки. На тушах убитых лошадей их целые стаи роятся во внутренностях, рычат, грызутся — картина хорошо знакомая и москвичам. Прихожу в больницу. Я — первый человек, пришедший из города после боев. Жадно спрашивают и больные и персонал. «У нас ещё не были»: у всех тоска ожидания. Сажу у Мишиной кровати, рядом больной чиновник, переживший, очевидно, за эти дни смертельные муки. Мне страшно сказать ему, что он брошен своими во враждебном стане, и сама удивляюсь, как абсолютно молчит во мне такая привычная, второй натурой ставшая, политическая вражда.

Через несколько минут грубые голоса в прихожей, визг сиделок, дрожащий голос сестры. «Здесь больные, тише, тише». — «Ничего, мы больным вреда не сделаем». Вваливаются несколько совершенно пьяных казаков и начинают обходить постели. «Ты где служил, у белых служил? Говори правду». Доходят до нас. Смотрят Мишин листок, где грубо соскоблено «дворянин» (у него был дворянский паспорт) и написано «гражданин». Мишины спокойные дружественные ответы располагают к нему казаков. «Квартира у тебя есть, товарищ, деньги есть? Может, выпить хочешь? Теперь не будет здесь бедных, не будет людей без квартир, всем вся дадим... Денег нужно, бери не стесняйся, мы не буржуи какие, мы за народ головы сложим, мы за бедных... мы тебе и вина пришлем, а доктора ты не слушай». Задерживаются у постели белогвардейца. Тот что-то лепечет бессвязно. С пьяной изменчивостью настроения казаки мгновенно преображаются: «Ты по всему видно белый с. с. (121)». В палате становится тихо и страшно. Рядом больной мальчик лет 12, Петя, с водянкой живота... «А вот мальчик, милый, скажи... он белый, скажи, где белые тут, кто обижал тебя». Петя худенький, бледный, с трудом дышит. Ему осталось жить несколько дней. Его балует и жалеет вся палата, необыкновенно трогательно страдающий, молчаливый и кроткий, он преисполнен самых хороших чувств к окружающим. «Нет, дяденьки, тут все добрые, меня все жалеют, а буржуев здесь нет, вчера все повыехали. Тут все за простой народ», — произносит он, тихонечко задыхаясь. Напряжение сразу падает. «Ну, коли так, товарищи, не бойтесь, свои пришли, всем хорошо будет, и ты, сестрица, не бойся, сполняй своё дело, тебя никто не тронет». Уходят, не посетив даже соседних палат.

Когда я возвращалась от Миши, в городе шёл разгром магазинов. Казаки выбивали стекла и, стоя в окнах, передавали сгрудившемуся народу обувь, материю, всевозможную посуду, хлеб, лакомства. У бакалейных магазинов образовались огромные толпы детей: их снабжали шоколадом, апельсинами, конфетами. Всю жизнь люди только смотрели сквозь зеркальные стекла на все эти прекрасные вещи — теперь они получали все даром. Это создавало большое впечатление, а то, что раздавали военные, не допуская к погрому толпу, давало иллюзию какой-то законной плановой выдачи. Но к вечеру погром, конечно, уже шёл вовсю, и толпа не оставила ни

одной мелочной жалкой лавочки, ни одного базарного лотка, так что целую неделю в городе потом ни за какие деньги нельзя было достать куска хлеба и ничего съестного.

Заработал Особый отдел армии...

В Батайске между тем укреплялись белые, и 29-го начался обстрел Ростова из-за Дона, который к этому времени стал. На 3-й день сразу отдохнувшие казаки в полном внутреннем порядке выступили из города в Батайск. Стояли сильные морозы, метели. Сражения разыгрывались за Доном на замерзших болотах, и с верхних этажей домов, выходявших на набережную, с чердаков видны были перебегающие цепи солдат, дымки разрывающихся снарядов и броневой белогвардейский поезд, загнанный, как в ловушку, на участке близ моста, пытавшийся прорваться к своим. Население страстно следило за ходом сражений: про красных говорили «наши», про белых — «те» и «он».

Михаила выписали из больницы. Ни ему, ни мне нельзя было вернуться на старые квартиры, где мы жили по белогвардейским паспортам и где нас знали как ярых монархистов. Переселились к Косте с Леной и жили вчетвером в крошечной конурке. Хозяева, простые люди, кое-что смекали и нас не тревожили, тем более что платили мы исправно. Положение было не из завидных. Паспорта белогвардейские, под кроватью динамит, деньги на исходе, никто в городе нас не знает, идут повальные обыски; бросить технику мы пока не решались, не будучи уверенными, что белые не вернуться; себя раскрывать тоже пока не хотели из тех же соображений.

Сражения все ещё продолжались. По утрам привозили в госпитали целые телеги солдат с отмороженными членами, случались ночные белогвардейские налеты на Нахичевань и окраины. Наконец вступили в город давно ожидаемые красноармейские части, и белая опасность миновала. Положение считалось обеспеченным. Мы спустили в городской люк свой динамит, который хранили и возили с таким трудом и риском в течение нескольких месяцев, и стали думать о том, чтоб как-нибудь обезопасить себя от возможности быть расстрелянными красными в качестве белогвардейцев. Через одного «борьбиста», занявшего по освобождению из деникинской тюрьмы комиссарский пост, мы выяснили не без труда, кто мы такие, и получили удостоверения личности от Ростовского ревкома. Возвратился Павло уже с деловыми советскими поручениями и мандатом от Новочеркасского ревкома, членом которого он оказался с первого же дня прихода туда красных. Выехать пока нельзя. Решаем прожить в Ростове некоторое время, чтоб собрать партийную публику и поставить организацию.

Ростов, проживший два года под черносотенным владычеством, ничего не знает о жизни Москвы за этот период и левых эсеров помнит по их работе ещё до немцев. Местные большевики ждут правительства, назначенного из Москвы, а пока управляют своими силами. Они ещё не получили из центра никаких инструкций и относятся к нам невраждебно, предлагают ответственные советские посты, тем более что работников у них нет вовсе, как нет абсолютно корней в казачьем населении.

В первые две недели нам удастся устроить несколько легальных открытых собраний и выпустить к населению листовку, пока что чисто программного характера. Сочувствие в рабочих кругах огромное, связываемся и со станицами. Внезапно работа обрывается — приехали московские большевики со строжайшими директивами, в частности относительно ПЛСР, и мы собираемся уже подпольно со сразу поредев-

шими рядами. С первой же возможностью выезжаем из Ростова. Мы с Михаилом выбираемся первыми с эшелонем, распродав решительно все вещи, вплоть до белья, чтоб набрать денег на дорогу и оставить хоть что-нибудь другим товарищам.

10 дней мы ездили до Харькова и 28 февраля возвращаемся в Москву, потратив, таким образом, 7 месяцев на бесплодные разъезды.

Костя с Леной живут в Ростове ещё некоторое время, выжидая только выздоровления Лены. Им приходится бежать оттуда пешком при новом 3-дневном налёте белогвардейцев на Ростов.

«Уфимское дело»

1937 год

Я не знаю, какой вид получило все произведение в материалах следствия, сохранившихся, должно быть, в архивах органов безопасности. Должно быть, все уложено в благопристойную, подобающую бесстрастному следствию форму, с соблюдением всех юридических норм.

Но в одном я вполне уверена: личность каждого из обвиняемых ни в какой степени не отразилась в запротоколированных показаниях, и они выступают как закоренелые враги социалистического строя, матерые контрреволюционеры.

А между тем для того, чтобы понять всю абсурдность возводимых на них обвинений, всю несовместимость инкриминируемых поступков с политической и нравственной физиономией каждого из них, нужно знать, что это были за люди — члены партии, родившейся в самом огне революции и очень быстро сошедшей с политической арены.

На всех фронтах Гражданской войны члены партии левых эсеров сражались и гибли так же, как и большевики. Они работали в подпольных организациях и совершали безвестные геройские дела в партизанских отрядах на Украине, на Дону, в Сибири, в Забайкалье. В то время как одни из них заполняли Бутырскую, Таганскую и прочие советские тюрьмы, другие томились в немецких, петлюровских, семеновских застенках; их пытали, расстреливали и вешали белые всех наименований (122).

Это происходило потому, что партия левых эсеров ставила основной своей целью борьбу с силами контрреволюции и никакие репрессии со стороны советского правительства её от этой цели не отклоняли.

Там, где для них ещё оставалась возможность бороться, члены партии отдавали свои силы и жизнь за рабочее дело.

Если в крайне сложной обстановке первых годов революции молодая партия совершала неизбежные тактические ошибки, то нельзя не признать, что они объяснялись исключительно стремлением к наиболее четкой и бескомпромиссной линии, тем, что Ленин называл «детской болезнью левизны» (которая, хотя и могла оказаться объективно вредной для дела революции, но не имела ничего общего с контрреволюцией). Всякое политическое лавирование, вынужденные и необходимые отступления расценивались партией левых эсеров как сдача революционных позиций (Брестский мир, НЭП и пр.).

Так или иначе, но уже в 1920–1921 гг. партия прекратила всякую политическую деятельность. Никаких решений о роспуске партии не принималось. Никаких отречений, покаяний, двурушнических влияний не было...

I

Я, Каховская Ирина Константиновна, была арестована в Уфе 8 февраля 1937 года на своей квартире вместе со своими друзьями, бывшими членами партии левых эсеров: Спиридоновой М. А., Измайлович А. А. и Майоровым И. А. (123)

С 1925 года мы проживали вместе, отбывая ссылку в Самарканде (3 года), затем в Ташкенте (2 года) и, наконец, в Уфе — 7 лет. Места ссылки нам назначались, а сроки удлинялись без предъявления каких-либо новых обвинений. Все мы четверо репрессировались с 1919 года, как члены ПЛСР, а так как партия фактически перестала существовать с 1920 года, то все её члены считались «бывшими» и репрессировались, так сказать, профилактически, находясь все время под гласным надзором органов внутренней безопасности. Разбросанные по самым отдалённым уголкам Союза, ссыльные левые эсеры поддерживали между собой кое-какую связь, выражавшуюся в переписке чисто бытового характера между некоторыми отдельными лицами и постепенно ослабевавшую.

В Уфе к моменту нашего ареста находились, среди прочих ссыльных социалистов, тоже несколько человек бывших левых эсеров — иные с женами и детьми.

С нами жили отец Майорова (124), семидесятилетний старик, совершенно больной, его сын Майоров Лева, кончавший десятилетку и мечтавший о поступлении в Географический институт, чтобы стать полярным исследователем (125).

Ссыльные, как всегда и везде в ссылках, представляли собой до некоторой степени замкнутый мирок, потому что общаться с местными «вольными» жителями — это значило навлечь на них подозрение в неблагонадежности, так как всякая, самая невинная, чисто бытовая связь с ссыльными набрасывала на человека тень.

Среди ссыльных завязывались дружеские отношения, ездили друг к другу в гости, обменивались книгами и т. д., и поневоле держались ближе друг к другу. Никакой решительно политической работы, никаких собраний, сходов, коллективных обсуждений, никаких планов о возобновлении политической работы в будущем в среде ссыльных левых эсеров не было.

Особая бдительность со стороны ГПУ всегда проявлялась в отношении бывших членов ЦК партии левых эсеров — Спиридоновой, Измайлович и Майорова, а в 1925 году присоединили к этой группе и меня, выслав в Самарканд, где были остальные трое.

С тех пор «четверку» уже не разлучали, применяя ко всем четверым одни и те же репрессии.

В Уфе положение этой четверки было несколько особенным, ввиду непрерывной, надоедливой, утомительной слежки, особенно за Спиридоновой М. А. У ворот на лавочке днем и ночью сменялись дежурные агенты, которые сопровождали нас и на прогулки, и ежедневно провожали Спиридонову на работу и обратно. В таких условиях приходило к нам отваживались, конечно, лишь такие же ссыльные, как мы, как левые эсеры, так и некоторые лица из других социалистических группировок, с которыми у нас в области политических взглядов не было ничего общего.

Мы были очень загружены работой. Возвращались после вечерних занятий очень поздно, принося зачастую работу и на ночь. В учреждениях обычно, пользуясь знаниями, работоспособностью и добросовестностью ссыльного, его загружали сверх

всякой меры, зная, что такому человеку устроиться трудно и он будет работать безропотно. Но, помимо этого, мы были искренне захвачены интереснейшей плановой работой, в которой видели теперь весь смысл нашей втиснутой в узкие рамки жизни. Дома мы были озабочены лечением старика, воспитанием мальчика, следя за его школьными успехами, правильным лечением его больных глаз (он в раннем детстве заразился трахомой в татарской деревне, где учительствовала его мать).

В течение многих лет мы прожили в одной квартире. Связанные годами царской каторги, а после освобождения (в 1917 г.) — совместной революционной работой в рядах одной и той же партии, как до, так и после Октябрьской революции, мы были спаяны теснейшей дружбой и абсолютным взаимным доверием. С 1925 по 1937 год мы, волею органов безопасности, тоже были неразлучны и знали мысли друг друга, настроения и поступки. Поэтому я с полным убеждением могу говорить за своих погибших товарищей; о том, что я не знала чего-нибудь из их дел и мыслей, не может быть и речи. А так как они сказать уже сами ничего не могут, то должна рассказать я, единственная уцелевшая.

Не может быть сомнений в том, что между собой мы говорили на политические темы, расценивая объективно и свою бывшую политическую работу, и настоящее положение вещей в стране.

Зная, что путь к широкой общественной работе, а тем более к политической деятельности для нас закрыт, и заполняя жизнь другим содержанием, мы стали обычными честными советскими тружениками, не поступившись ни одним из основных своих революционных принципов. Никто из нас, четверых, не считал возможным борьбу против линии большевиков; ни с какой оппозицией мы не солидаризировались идеологически, а тем более практически, и с величайшим удивлением и волнением читали показания обвиняемых зиновьевцев, не веря своим глазам. Никакой попытки организационно связаться с другими социалистическими фракциями, никаких ни с кем переговоров, обсуждений не было, и никто из нас об этом и не помышлял. К тому же, политическая платформа левых эсеров, как известно, по существу отлична от платформы правых социалистических группировок.

Словом, политической деятельности левые эсеры уже давно не вели никакой.

II

В городе росли тревожные настроения в связи с процессами и участвовавшими арестами среди коммунистов и среди беспартийных.

Мы не считали себя совершенно вне опасности. Мы думали, что это все внутрипартийные большевистские дела; нас это не касалось, тем более что мы так уже давно в ссылке, и к тому же уже старики. Будь мы не так невинны, кое-какие факты могли бы нас встревожить. Так, месяца за 2 до нашего ареста приехал некий гражданин из архангельской ссылки (фамилии не помню). Он сказал, что является другом Камкова Б. Д. (126), прислан в Уфу «кончать трехлетний срок ссылки», так как архангельский климат ему вреден. Он заявился к нам и сказал, что хотел познакомиться со Спиридоновой. Одновременно пришла открытка от Камкова, где тот сообщал, что от них, из Архангельска, направлен в Уфу очень подозрительный человек, с которым

архангельские ссыльные не хотели иметь дела: что если он к нам явится, то и нам он не советует вести с ним знакомство. Этот человек посетил нас раза три, не застав Спиридоновой, которая избегала встречи с ним, и исчез. Мы приписали его визиты простому любопытству; он, очевидно, хотел «посмотреть» известную Спиридонову. Впоследствии он давал о нас какие-то порочащие показания (127).

Вторым фактом, который мог бы нас навести на размышления, явилось то, что ссыльному левому эсеру Драверту Леониду (128) неожиданно предоставили в центре города прекрасную многокомнатную квартиру со всей обстановкой и хозяйственными аксессуарами. По словам Драверта, он получил её от ГПУ на время отпуска одного из сотрудников ГПУ и переехал сюда с семьей на время. За несколько дней до нашего ареста Драверт пригласил к себе всех ссыльных, без различия фракций, на день рождения сына, которому исполнилось два года. Мы пробыли там с полчаса (Майоров, Измайлович и я) и ушли, когда стали собираться остальные гости, удивляясь вниманию, проявленному по отношению к Драверту, который уже имел неплохую квартиру, правда, далеко от центра. Драверт во время нашего визита был мрачен, молчал и жаловался на головную боль.

И наконец, 6 февраля 1937 г., вечером пришёл к нам взволнованный и бледный ссыльный Маковский Антон (129) (беспартийный, электромонтер) и рассказал нам, что он только что из ГПУ, куда его вызвали по очень странному и неприятному делу. Он, оказывается, на днях закончил проводку в новом Доме правительства и просил, чтобы администрация приняла его работу. Однако этого не сделали и уже начали въезжать. Вдруг одна из люстр упала с потолка. Ему показали упавшую люстру, которая стояла в кабинете следователя. Маковского повезли с другими рабочими осматривать всю проводку. Все люстры оказались на пробках, замазанных в потолок, что противоречило правилам и грозило опасностью серьёзно ушибить при падении находящихся в комнатах людей. Маковский недоумевал. Он утверждал, что люстры были ввинчены в балки, закреплены по всем правилам и, кроме того, они были очень невелики и так легки, что если бы и вырвались, то повисли бы на проводах, а не упали бы. И Маковский, и рабочие просили дать им возможность доказать, что, несомненно, в дереве сохранились следы от винтов. Но это не было разрешено. Факт был тот, что во всех кабинетах люстры оказались на пробках. Мы не знали, верить ему или нет, так как Маковский не производил впечатления серьёзного и правдивого человека. Теперь он был в отчаянии, был убежден, что его привлекут за халатность, посадят, и умолял поддержать жену и детей.

Мы попеняли ему за то, что он берется за такие дела, как электрификация Дома правительства, что это слишком ответственно и всегда могут быть неприятности, особенно для ссыльных.

С этой же историей и с теми же мольбами он был ещё у нескольких ссыльных.

Все это показалось нам странным. Мы пожалели обремененного семьей человека, на которого свалилась такая беда, но никак не связали это происшествие с собственной судьбой, тем более что Маковский левым эсером не был (выслали его за какие-то анекдоты), у нас бывал очень редко, жил далеко за городом на макаронной фабрике и вообще имел самую слабую связь с ссыльными.

Таков был пролог к разыгравшейся затем трагедии, унесшей несколько десятков жизней честнейших, чистых людей, из которых многие в своё время послужали революции и были связаны с нею всеми помыслами и надеждами.

III

Рано утром 8 февраля 1937 года в нашу тихую квартиру явилось множество людей. Нам предъявили ордер на обыск и арест. Обыск производился каким-то погромным образом и продолжался весь день. Из шкафов сыпались книги, из ящиков письма и бумаги, простучивались стены, вынимались кирпичи там, где слышалась пустота, — все было засыпано золой и обломками кирпича.

В самый разгар обыска к нам прибежал перепуганный и заплаканный мальчик, сын Маковского, его послала к нам его мать — сказать, что мужа арестовали и нашли у него при обыске пакетик крысиного яда (на макаронной фабрике было много крыс, а квартира Маковского была при фабрике). Мальчика у нас задержали.

К вечеру все было кончено; нас увели, дома остался плачущий безногий старик и ошеломлённый сын Майорова Лёва, которому мы дали ряд хозяйственных указаний и поручение отнести ключи от наших рабочих столов по местам нашей работы (Госбанк, Мельтрест, Лесхоз). И тут мы ничего странного не заподозрили. Ведь много раз нас обыскивали, забирали, а через несколько месяцев перебрасывали в другой город. Но старик был болен, мальчику вскоре предстояли выпускные экзамены. Это усугубляло неприятность положения. Мы ушли, не простившись друг с другом, не взяв с собой ничего, кроме мыла и полотенца, оставив все деньги Лёве и деду, надеясь вскоре встретиться с ними в другом каком-нибудь городе. Больше мы их никогда не видали, и судьба несчастного мальчика и безногого старика, которые вскоре были оба арестованы тоже, мне известна лишь по непроверенным слухам.

Позднее из допросов, из уст без конца сменявшихся следователей, я узнала, что в ту же ночь были арестованы следующие лица: Белостоцкий Борис, бывший левый эсер, Егоров Павел, бывший левый эсер, его жена Затмилова Галина, беспартийная, Антонов-Грошев Алексей — бывший левый эсер, его жена Арбузова Лидия, бывшая левая эсерка (130), Шумаева Люся (131), бывшая левая эсерка, Доброхотова Александра, бывшая левая эсерка (132), Лузин Святослав — бывший левый эсер (133), Давыдова Полина, бывшая левая эсерка (134), Драверт Леонид — бывший левый эсер, его жена Хава — беспартийная (135). Часто упоминались связанные с нами личным знакомством и чисто личной дружбой чета Новиковых, Константина и Елены, Русских Харитон Андреевич (136).

Кроме левых эсеров в ту же ночь забрали всех ссыльных, правых эсеров, меньшевиков, анархистов, сионистов и проч. (137)

Началось следствие, ошеломляющее, неслыханное и неправдоподобное — и длилось оно 11 месяцев.

Арестованные ссыльные были размещены в переполненном до отказа одиночном корпусе, где на «одиночку» приходилось по 14-20 человек заключённых, а левые эсеры были большей частью помещены в ИЗО № 1: так назывался смертный корпус, где было всего 19 крошечных одиночных камер. Четыре одиночки были заняты

смертниками — уголовными, которые сменялись по мере «выведения в расход» или помилования.

Много я видела на своём долгом веку тюрем, но таких одиночек и таких условий содержания заключённых я ни до, ни после не встречала. Здесь все было рассчитано на то, чтобы сразу же раздавить человека, запугать, ошеломить, дать ему почувствовать, что он уже не человек, а «враг народа», с которым все дозволено. Мало того, что здесь игнорировались элементарные физиологические потребности человека (свет, воздух, еда, отдых, лечение, тепло, оправка) — все обращение надзора было исключительно грубым, подчеркнуто презрительным, бесцеремонным и злобным.

В крохотной, холодной, сырой и полутёмной камере стояли койка и полукойка. На койке полагалось спать следственному арестанту, на полукойке, поджав ноги, ютились добровольные жертвы, «сексотки», из осужденных на небольшие сроки бытовиков. На их обязанности лежало не спускать глаз с соседа, не давать перестукиваться, выведывать, что удастся, и — главное — не дать покончить с собой. Эту благородную миссию брали на себя некоторые особы обоих полов в надежде заслужить себе смягчение участи. Окошко, зарешеченное с двух сторон, с плотно примыкающим железным щитом снаружи — внутри загоразивалось ещё частой проволочной сеткой, чтобы заключенный не мог разбить стекла и зарезаться. Дневного света не было; высоко под потолком горела день и ночь маленькая запылённая электрическая лампочка. Воздух отравлен огромнейшей, насквозь пропахшей деревянной «парашей», которая едва умещается между койками и углом холодной печи. Книг никаких не разрешалось, и если заключённый находился в камере, а не на допросе, то обязан был сидеть на койке с лицом, обращенным к «волчку», чтобы надзор мог видеть, что «враг народа» не спит и не дремлет.

Допросы начались в первую же ночь. Весь нижний этаж огромного одиночного корпуса был приспособлен для производства следствия. Из-за дверей одиночек доносились крики и возмущенные голоса допрашиваемых. Вначале следователи нащупывали почву, знакомились со спецификой арестованных; угрозами, ломками, обещаниями, загадочными намеками пытались смутить, утомить, обезволить и запугать человека, наглухо изолированного от товарищей. Каждый из заключённых видел только следователя и мог опираться только на самого себя, свою совесть, честность, твердость, революционную сознательность. Поддержки извне не могло быть, не было способа спастись от провокации; твоим именем могли как угодно злоупотребить, показать твои сфальсифицированные показания другим обвиняемым, чтобы разложить их стойкость и вселить недоверие к близким друзьям.

«Никто ведь не узнает о вашей стойкости: погибнете безвестно в помойной яме истории», «Цветочков никто на могилку не принесёт, — издевался следователь. — А способов у нас много, чтобы заставить сказать то, что нам нужно». «С этого стула ещё ни один не сходил, не сознавшись». «Такие, как вы, нам очень нужны, сознавайтесь, советская власть вам всё простит, и будете работать, как честные советские люди».

Таковыми приемами в самом начале следствия оперировали следователи. Прощупывались наиболее слабые люди, их наиболее уязвимые места.

Но попытки развратить арестованных длились не более двух недель. Материал оказался неподатливым. Клеветать никто не хотел — и характер допросов резко изменился: от психического перешли к физическому воздействию. Начались окри-

ки, оскорбления, дикие угрозы применить такие меры, против которых никто не мог устоять. Стулья, на которых сидели допрашиваемые, были сменены табуретками, настолько высокими, что ноги не доставали до пола и начиналась сильнейшая боль в бедрах; потом унесли табуретки, и допрашиваемый стоял, стоял по многу часов. Теперь уже из всех одиночек неслись вопли: палачи! жандармы! убийцы! садисты! Неистовая ругань следователей, удары, звуки падения тел... Мне приходилось проходить весь коридор, так как мой следователь, Лобанов, расположился в конце коридора, поближе к буфету, устроенному там для подкрепления сил следователей. Я слышала знакомые голоса. Напротив моей одиночки обрабатывали Спиридонову. Следователь (Михайлов или Петров) бегал от неё ко мне и обратно; он то уверял, что Спиридонова уже созналась, то в бешенстве кричал, что ни одна женщина не желает ничего говорить, что с мужчинами всё же легче, на что Лобанов резонно отвечал, что мужчины тоже все «принципиальные», считая, очевидно, «принципиальность» каким-то ужасным пороком. Теперь допросы продолжались уже по 2–3 дня без перерыва: сменялись следователи, а заключённый либо сидел, либо стоял, измученный до предела, и день и ночь.

Но вот нашлись два человека, которые сдались и в продолжение всего следствия были его послушными орудиями, наговаривая по указке следователя всякие чудовищные вещи на невинных людей. Эти два человека были — Маковский и Драверт.

Как был уловлен Маковский, я слышала своими ушами.

Однажды под утро утомлённый следователь не совладал с дремотой и тихо посапывал, облокотясь о стол; остальные камеры тоже понемногу пустели — заключённых разводили по камерам на opravку. Я отчетливо услышала в соседней одиночке: «Встать! сесть! встать! сесть!» — и детский плач. Дверь открылась. «Отвести в 1047-ю», — крикнул следователь конвоиру. «Как идёшь? По одной половине! Ты не у маменьки в детской!» — и снова детские слёзы... Это обрабатывали сына Маковского на глазах у отца.

...И потом: «А если я подпишу, вы его отпустите?» — «Честное слово, сегодня же будет дома!»

Так были подписаны Маковским ложные показания, послужившие первым камнем возводимой постройки. Так оказалось, что люстры Дома правительства были им слабо укреплены по заданию «четверки» с тем, чтобы они свалились на головы членов Башкирского правительства и перебили их.

Так впоследствии оказалось, что на совещании левых эсеров в нашей квартире было решено убить всех членов Башкирского правительства бомбами в момент, когда они будут уходить «со службы», и роли террористов были точно распределены и зафиксированы; а Маковский, который зашёл просто «на огонек», получил задание выследить секретаря парторганизации. «Я принял это предложение, в чём глубоко раскаиваюсь», — завершил он свою сказку.

Излишне говорить, что вся эта галиматья была выдумана следователем и подписана Маковским под страхом расправы с его семьёй. Маковский — типичный обыватель, посажен и выслан был за какие-то контрреволюционные анекдоты, называл себя «без пяти минут инженер» и производил впечатление вкрадчивого и скучного человека. Он бывал у нас очень редко, мы его чуждались, его это обижало. Устроился он хорошо, электромонтером на макаронной фабрике, был на отличном

счету у начальства и часто брал аккордные работы, чтобы хорошо обставить квартиру и создать хорошие условия для детей. С ним можно было говорить только о его семье — это был его основной жизненный интерес.

Вторым клеветником оказался Драверт Леонид, бывший член казанской организации левых эсеров. Отец его — видный адвокат и довольно известный в Сибири революционный поэт (138). Драверт боролся в левоэсеровском отряде против банд Махно (139) и был захвачен бандитами. Ему удалось бежать; в одном белье на жгучем морозе он прискакал на коне к своим и свалился — заболел сильнейшим нервным расстройством. Впоследствии он много лечился, но навсегда остался безвольным, неуравновешенным, а последнее время сильно пил.

Давал какие-то показания Студенцов (140), признанный душевнобольным ещё в 1935 году по освидетельствовании врачебной комиссией при ГПУ.

Прочитывали мне также какие-то показания гражданина из Архангельска, о котором я говорила выше.

Одним словом, с каждым днем появлялась новая петля липкой паутины. Я долго не могла понять, в чем меня собственно обвиняют: это были общие фразы об организации крестьянских восстаний, о терроре, о создании какого-то грандиозного контрреволюционного центра. На все мои просьбы уточнить и конкретизировать обвинение я получила один ответ: «А об этом вы расскажете нам сами; ну, рассказывайте, рассказывайте!»

Я знала только, что всем левым эсерам предъявлена 58-я статья, пункт 8, 10 и 11.

Наконец из всего хаоса обвинений, обличений и допросов выкристаллизовалось что-то определённое. Обвинение формулировалось и показания фабриковались по двум линиям: во-первых — создание центра, объединяющего все оппозиционные партии и группировки, и второе — подготовка террористических актов против членов Башкирского правительства.

Так как и то и другое приписывалось одним и тем же лицам, то возникало множество противоречий, бросавшихся в глаза.

Сначала казалось, что все это — огромное роковое недоразумение, которое мы обязаны рассеять не только для того, чтобы спасти себя, но для того, чтобы не вводить в заблуждение правосудие. Но вскоре стала совершенно очевидной злая преднамеренность и самый циничный подход к истине; попирались элементарные требования следствия, подтасовывались факты, извращался смысл отдельных простых слов и фраз, игнорировались совершенно явные алиби, приписывались далекие поездки в разные края Союза лицам, заведомо никогда не отлучавшимся из Уфы. В дело затесался какой-то, никому не ведомый, Жан Крестов, который за собственноручной подписью давал обличающие показания на некоторых обвиняемых. Выяснилось впоследствии, что это Жан Кристоф из романа Ромэна Роллана (141). Был запланирован огромный процесс — «амальгама», где вскрыется страшный заговор, охвативший всю страну. Но так как никакой компрометирующей переписки, никаких документов, никакого оружия обнаружено не было, ничего подтверждающего нашу связь с другими партийными организациями и отдельными лицами тоже не было найдено, то приходилось выдумывать: и склады оружия в Москве, которые там организовал, по моему поручению, Белостоцкий, и бомбу в Уфе, и никогда не бывшие поездки

для связи во все концы Союза. «Мы будем вас судить открытым судом, перед всем народом, и там вам уже придется говорить», — грозили следователи.

Стряпалась какая-то безграмотная халтура, детективный роман, в котором фигурировали «злодеи левые эсеры», жаждавшие крови, крови и крови и обличаемые своими же раскаявшимися товарищами.

Теперь уже на допросах у меня бывало по несколько следователей сразу, и «конвейерные» допросы продолжались по 6 суток кряду.

В ночь на воскресенье разрешалось спать. «Это вам зарядка на неделю», — говорил мне следователь Лобанов. Но тут вмешивался коридорный надзор. Под видом проверки замков надзирательницы нарочно производили грохот, который не давал уснуть. Среди ночи вдруг у тебя сдергивали одеяло, которое случайно загородило лицо: «Мы вас живьем принимали, живьем и сдадим следующей смене». Утомление достигло крайних пределов. Обескровленный мозг начал плохо соображать. Я забыла вдруг имена всех своих сослуживцев, названия предприятий, которые планировала в течение пяти лет. «Подпишите, — мы вас не будем больше трогать. Дадим тихую камеру, подушку, и вы будете спать, спать, спать... Мы соединим вас всех четверых, чтобы вы наговорились...» — подкупал следователь совершенно ослабевшего, отупевшего от бессонницы человека. В дыму страшно прокуренной одиночки, под ругань, насмешки, крики, угрозы — проходят дни за днями. Восходит и садится солнце, сменяются за столом твои мучители, а ты сидишь полуживая и боишься одного: гипноза. Тихонько кладешь за щеку кусочки разбитого стекла, найденного на прогулке и хранимого, как драгоценность: если начнут гипнотизировать, начнешь жевать и глотать стекло — тогда боль помешает гипнозу... Кто перед тобой: советский следователь или прокравшийся к нам шпион, фашист? Ведь видят и знают хорошо эти люди, что мы ни в чем не виноваты, но им совсем и не нужно знать правду: им нужно, чтобы мы подписали клевету на себя, на друзей. Зачем это? Что это? Кому нужна эта преступнейшая затея?.. Это не подходит под определение «бдительности» или «беспощадности к врагам».

И вот мне дали прочесть напечатанное на тоненькой бумаге письмо Майорова к Спиридоновой, где он убеждает её «сознаться в своей контрреволюционной деятельности». А позднее мне показали несколько отрывков из его показаний — чудовищно лживое нагромождение всяких небылиц. Ничто в них: ни обороты речи, ни смысл их — не вязались с тем, что и как мог сказать Майоров, стойкий и честный человек, прошедший через тяжёлые испытания ещё при царизме. Это был стиль показаний Маковского или Драверта, но подписано было хорошо известной мне рукой Майорова.

Когда я впоследствии с содроганием вспоминала это «письмо» и пыталась представить себе муки, которые могли вынудить Майорова давать ложные сведения о поступках близких и очень дорогих ему людей, сведения, которые могли на них навлечь серьезнейшую из кар, ошельмовать самого себя, давать в руки суду материал, искажающий истину, и сознательно вводить советский суд в заблуждение, я остановилась на двух возможностях: это был либо гипноз, примененный к обезволенному бессонницей человеку, либо попытка страхом крыс, которая широко практиковалась в карцерах при всех политических режимах. Как ни странно, но вот такой чисто патологический страх перед мышами и крысами был у Майорова, и даже в домашних

условиях он при виде крысы дико вскрикивал и терял сознание. Все наши товарищи хорошо это знали. «А ведь ваш Майоров боится крыс!» — сказала мне однажды моя сексотка со смехом — и замаялась, поняв, что сболтнула лишнее. Но чем бы ни объяснялось это необъяснимое для меня явление, но это случилось.

Показания Майорова дали следствию солидную основу: ведь это был ответственный и серьёзный человек. Я требовала очной ставки с Майоровым: «О нет, вы его разложите сразу! Вы его не увидите!» Наконец, после двух последовательных «конвейеров» по 9 суток, с которых меня приволакивали под руки, я заболела дизентерией, которая свирепствовала в тюрьме и уносила множество народу.

Долго провалялась я в камере без помощи, потому что следователь не позволял класть меня в больницу (это нарушило бы изоляцию), и лишь на четырнадцатые сутки меня унесли на носилках. Условия тюремной больницы требовали бы особого описания, если бы не канули безвозвратно в прошлое. Там я медленно поправлялась, и полубольная, страшно ослабевшая, была выписана. В соседней палате лежал Павел Егоров (142). Он объявил голодовку, и на двадцать второй день его привели в больницу, чтобы применить искусственное питание. Об этом я узнала от медицинской сестры из заключённых.

Когда я смогла выйти на прогулку в больничный двор, я увидела издали сидевшего на далекой скамейке исхудавшего Егорова. Он меня не узнал, да и мудро было узнать. Потом я услышала от его бывших соседей по одиночке (он сидел в большом корпусе), что он объявил голодовку, требуя, чтобы прекратили спекулировать его вынужденными показаниями и аннулировали их. Правда это или нет, я не знаю.

После больницы меня поместили в совсем темную каморку рядом с уборной, с мокрой стеной и резкой вонью. На вопрос старшего надзирателя на поверке, почему меня посадили в эту камеру, надзорка ответила: «По распоряжению следователя».

Ночью меня вывели во двор и привели в маленькое деревянное строение, бывшую больничную прачечную, где теперь сваливали, очевидно, старый хлам. Стоял старый некрашенный стол и две скамейки. На них сидело несколько человек в форме. Горела крошечная керосиновая лампочка. На табуретке у стены я разглядела Драверта; он был почему-то в одном белье. На окне было два стакана сметаны, и лежала пачка папирос. Меня посадили на край скамейки.

После нескольких обычных в таких случаях вопросов Драверт стал в позу оратора и начал выкрикивать истеричным голосом свои «обличения». Не было ни одного слова правды во всей его речи; больше всего это походило на бессвязный бред, который следователь пытался направить в определённое русло своими подсказками и наводящими вопросами. Когда Драверт замолкал, ему подавали сметану: он жадно, спеша, ел её и продолжал. Мне не дали вымолвить ни слова. «Сознавайтесь, мне из-за вас курить не дают!» — взвизгнул он наконец и опустился на табуретку в изнеможении. Ему сунули в рот зажжённую папиросу. Мне дали подписать протокол очной ставки. Я написала: «Все стопроцентная ложь!» Мои слова зачеркнули и обругали меня площадной бранью.

Вся эта очная ставка сопровождалась грубейшими оскорблениями, улюлюканьем, хохотом присутствующих молодцов. Я вернулась в камеру совершенно потрясённая. В первый раз в жизни видала такое. Можно понять, что безвольного человека можно довести до того, что он подпишет всё, что угодно; но откуда этот пафос, эта

уверенность и бесстыдство во лжи? Причём в такой лжи, которая могла стоить жизни многим людям! А ведь он был не злой, а только очень слабый, размагниченный человек; а от нас он не видал ничего, кроме участия к себе и своей семье.

Теперь такие вещи уже никому не кажутся странными: бывало в тот год и похуже. Но ведь тогда каждый из нас думал, что это единственный случай, небывалый, и тяжело недоумевал, терзался, пытаясь понять, как такое могло произойти.

Вторую очную ставку мне дали с Маковским — уже в кабинете следователя внутренней тюрьмы. Тут было яркое освещение, корректное обращение; но из уст Маковского, бледного, с расширенными зрачками, сыпались без конца, с подсказываниями следователя, всякие небылицы, и весь тон его речи был окрашен язвительностью, злорадством, враждой, для которых поводом могло явиться лишь уязвлённое самолюбие за то, что мы всегда как-то избегали его общества. Но ведь этого мало, чтобы посылать людей на смерть.

Для чего были даны эти очные ставки, нельзя было понять. Ведь мне говорить не давали? А вот ставки с Майоровым я так и не добила.

Допросы продолжались, и с тем же результатом. Физические силы иссякали. Бессонница, ужасная пища, перенесенная болезнь и, главное, нечеловеческое нервное напряжение в течение многих месяцев становились невыносимыми, а конца не предвиделось. Материала не хватало.

Каждый из нас боролся за своё честное имя, за честь своих друзей в одиночку, хотя много легче было умереть, чем вынести этот ад в течение многих месяцев. Обвиняемые были все ещё сильны духом и, кроме несчастного Майорова, сломать ни одного настоящего революционера не удалось.

О допросах товарищей я узнавала от самих следователей; от них же, а впоследствии и от потерпевших я узнала про карцеры Уфимской тюрьмы — холодные, жаркие, мокрые и известковые, про знаменитую «рубашку», заимствованную, очевидно, из калифорнийских застенков, описанных Джеком Лондоном в его книге «Рубашка». «У нас “рубашек” на всех хватит», — говорили следователи. О страшных методах следствия я слышала также из разговоров надзирателей, которые рассказывали друг другу жуткие вещи; в мертвой тишине ИЗО № 1 эти разговоры можно было хорошо слышать.

Но вот на воле произошло новое событие: были арестованы все наркомы Башкирии и партийный комитет со своим секретарем. Это были те люди, против которых мы якобы готовили свои террористические акты. Наши одиночки теперь понадобились для них, и нас пришлось перевести в большой одиночный корпус, который гудел как улей. В каждой одиночке 14-20 человек.

После мертвого дома ИЗО № 1 здесь казалось шумно и свободно. Тут уже не было такой изоляции, и я делала попытки хоть что-нибудь узнать о товарищах — но безуспешно. Приводили все новых людей, и так как следствие очевидно подходило к концу, то некоторые из нас оказались в общей камере. Тут я встретила с Арбузовой (143) и женой Драверта, Хавой, которую привели сюда с двухлетним ребенком. Узнала и о том, что проделывали с ними. Арбузова была совсем больна, по ночам бредила. В камере на 9 человек было сначала 45, а потом дошло до 50. Люди стояли и по очереди сидели у стен на полу. Вскоре тут оказались и жены башкирских наркомов.

После того, как Башкирское правительство было арестовано (144), объект наших кровожадных стремлений оказалось необходимым заменить. И вот я услышала, что я лично имела задание организовать убийство Ворошилова, посылала эмиссаров в Москву и хвалила их за хорошую работу. Дело подготовки убийства шло успешно, и я была очень довольна. Иногда говорили «Ворошилов», иногда говорили «Сталин», а когда я попросила сказать мне точнее, кого же, в конце концов: башкир, Ворошилова или Сталина, — следователь закричал: «Вам ведь все равно кого убивать, лишь бы убивать, убивать; ведь вы — террористы!»

Но, так или иначе, а следствие приходилось заканчивать.

Из проектировавшегося вначале грандиозного открытого процесса ничего не получилось. «Вас будет судить Военная коллегия; у них быстро: раз-раз — и готово!»

С материалами следствия мне ознакомиться не дали, хотя я считала это своим правом. «К чему вам? Ведь ваши показания — это филькина грамота, да и остальные почти такие же». На этом покончили. А настаивать у меня уже просто не было сил, и это ни к чему не привело.

25 декабря 1937 г. меня судила выездная сессия Военной коллегии Верховного суда.

Однако предварительно было решено произвести ещё какое-то воздействие: обработку страхом, голодом, — последнюю попытку вызвать какой-то перелом в моей психике.

Проделали так: 23 декабря вечером, ещё до ужина, меня в чёрном «собачнике» увезли во внутреннюю тюрьму. Там где-то, в незнакомом мрачном помещении, я встретила вновь следователя Лобанова, который вообще больше всех возился со мной.

Он сказал мне, многозначительно улыбаясь, что, так как мои показания «филькина грамота», то приказано добиться от меня раскаяния любыми способами, и дознание начинается сначала. Больше со мной «чичкаться» не намерены, и теперь-то уж я буду вынуждена во всем сознаться. «Подумайте, а когда надумаете, постучите». Меня заперли одну, а до позднего вечера 24 декабря — сутки — я просидела без пищи и питья одна, в недоумении и ожидании новых допросов. Часов в 10 вечера меня увезли обратно в тюрьму и снова в ИЗО № 1, где я просидела первые 9 месяцев следствия. Пищи опять никакой не было.

Вскоре туда же, в дежурку, где обыскивали, привели Затмилову, Лобыцину (145) и Новикову. После обыска нас ввели в одиночку, где уже находилась Измайлович. Лечь было не на чем. Среди ночи нам вручили каждой обвинительный акт. Было совсем темно, а печать была бледная, на папиросной бумаге: прочесть мы ничего не смогли и решили прочесть утром.

В пять часов утра, ещё до общей побудки, нас увезли опять, не накормив, в ГПУ, где поместили всех вместе в пустую камеру внутренней тюрьмы. Здесь мы просидели до вечера, опять без еды, и нас стали вызывать поодиночке.

Первую вызвали меня. Прокурор скороговоркой прочёл обвинительный акт, где было написано, что я готовила покушение на Ворошилова, поднимала крестьянские восстания и ещё что-то. Я сказала, что всё это ложь. Вывели на минутку; ввели обратно. Прочли приговор: 10 лет тюремного заключения и 5 поражения в правах. Вся процедура заняла по часам — 7 минут.

Я удивилась мягкости приговора, так как по характеру обвинения и по всему тону следствия ожидала большего. Такой же приговор получили Измайлович, Лобыцина и Затмилова. Новикова Елена, которая никогда не репрессировалась и находилась в Уфе только из-за ссыльного мужа, ожидала полного оправдания и немедленного освобождения. Ей в ходе следствия не предъявляли никаких обвинений, а только спрашивали обо мне, о её отношении ко мне и к моим друзьям. Она вернулась с суда с широко раскрытыми глазами: те же 10 лет тюремного заключения и 5 поражения.

После суда нас долго ещё держали в тюрьме на положении следственных, и меня много раз вызывали на допросы, спрашивали о вновь арестованных левых эсерах в разных городах и о совсем незнакомых мне лицах, которых пытались связать с нами.

«Семнадцать месяцев допрашиваем, и хоть бы хны!» — возмущался следователь.

Летом нас с Измайлович отправили в Ярославский изолятор и там разлучили навсегда. Затмилову и Лобыцину увезли раньше, а Новикова, которую мы оставили в Уфимской тюрьме совсем больной, была увезена позднее. Вскоре она умерла на Колыме.

Эти три женщины: Затмилова, Лобыцина и Новикова были только женами своих мужей и никогда не были причастны к какой-либо политической деятельности.

Этот ужасный приговор им дали только за то, что они вынесли всю тяжесть следствия, не запятнав своей совестью клеветой.

Наиболее жестокий приговор был вынесен Спиридоновой и Майорову: 25 лет тюремного заключения (незадолго до этого, по указу Сталина, были введены такие сроки заключения).

В начале следствия мы трое (Спиридонова, Майоров и я) были в одном коридоре, и я знала по звуку отпираемых засовов, покашливанию, даже по дыханию проходивших мимо меня друзей, где они, улавливала по звуку, когда их вызывали и возвращали с допроса. Но снестись с ними не было никакой возможности.

Месяца через 2-3 Спиридонова объявила голодовку с требованием изменения нечеловеческого режима заключения и перевода всего нашего дела в Москву (нам казалось, что такие неслыханные дела могут твориться лишь вдали от центра). Так как Спиридонова болела туберкулезом и цингой ещё на каторге, то обе эти болезни дали резкие вспышки. Стремясь сохранить её живой для следствия, её перевели в другой корпус, подлечили и обещали перевести в Москву. Её так же томили на допросах. Часто, уже утром, когда пустел весь следственный коридор, только в наших двух одиночках бились над нами озлобленные и утомлённые следователи. Спиридонова плохо слышала (ей ещё царские жандармы при избиении повредили слух), и следователи говорили очень громко, я всегда знала, в какой одиночке её мучают, чем донимают. Потом её действительно перевели в Москву, но и там она не нашла справедливости. Её и Майорова судили отдельно и дали им по 25 лет.

Затем её перевели в Ярославский изолятор, оттуда во Владимирский, затем в Орёл. Я её увидела в вагоне, при переезде из Ярославля во Владимир. Она шла по коридору столыпинского вагона, седая, худая и держалась за стенку. Увидев меня за решёткой другого купе, она крикнула свой приговор и, показав на уши, сказала: «Ничего не слышу».

К моменту эвакуации Орла, Спиридонова, Измайлович и Майоров находились в Орловском изоляторе. Они не были вывезены вместе с другими заключёнными. По слухам, их там расстреляли, но правда ли это — я не знаю.

Из Владимирского изолятора, как физически работоспособный человек, я была отправлена в декабре 1939 г. в Краслаг НКВД, Красноярского края, где проработала 7 лет исключительно на тяжелых общих работах: лесозаготовках и сельхозработах.

Из моих бывших товарищей и друзей я никогда никого не встречала и имела весточку только от своего близкого товарища по подпольной работе в деникинской оккупации Жукова Михаила (146), астронома, осужденного на 5 лет лагеря за отказ отречься от «немарксистской» теории солнечных пятен. Он умер на инвалидной командировке за год до окончания срока.

Таков коротенький рассказ о безвинной гибели людей, всеми мыслями и чувствами связанных с революцией и послуживших ей в своё время в меру своего разумения и сил.

Погибли все, конечно, кроме, может быть, тех, кто в 1937 году был ещё очень молод и здоров. Из старых и ответственных работников левых эсеров я, должно быть, осталась одна. Я тоже заканчиваю своё жизненное поприще и ничего для себя не ищу и не жду. Но замолчать всю эту трагическую уфимскую историю я не считаю себя вправе.

Я знаю, что и в других городах было то же самое. Но говорю я только о том, что твердо знаю сама, и о людях, мне близких и знакомых в продолжение последних лет перед 1937 годом.

Дополнение к заявлению Каховской

Люди остались сами собой, но поняли и признали тот факт, что единственной руководящей силой революции стала партия большевиков, что для поступательного и победного движения необходима однопартийная система государственного руководства; что всякое оппозиционное выступление — авантюра на руку врагам и что не может быть допущено никакой солидарности с враждебными советской власти группировками и безответственной обывательской критикой. Каждый работал, как рядовой советский человек, с максимальной добросовестностью и преданностью делу.

Интересно, что одним из наиболее последовательных в этом отношении был Илья Майоров, который так обрадовал следователей, подписав целую кучу лживых показаний, позорящих его самого и близких ему людей (если только он действительно подписал их).

Майоров — выходец из бедной крестьянской семьи. Он добился образования ценой тяжелых лишений. Студентом он уже работал в подпольной эсеровской организации в Казани и вел широкую пропаганду среди рабочих и близкого ему крестьянства. Он был арестован и приговорен к лишению всех прав и ссылке на поселение в Сибирь. Оттуда он бежал, сначала работал, скрываясь, в шахтах, потом пробрался на родину и вел подпольную работу до самой революции. После Февральской революции он возглавил в Казанской губернии крестьянское движение по захвату помещичьих земель и выдвинул лозунг передачи власти Советам, опередив этим ход событий. В качестве делегата он приехал на крестьянский съезд в Петроград и выступил на нём с проектом социализации земли. Этот проект был проработан и принят съездом, вошёл он и в первую советскую конституцию. Потом Майоров работал помощником наркома земледелия. В. И. Ленин считал его ценнейшим работником и всегда считался с его суждениями в области аграрной политики (147).

Вопрос обобществления и коллективной обработки земли Майоров считал кардинальным вопросом строительства социализма в нашей стране. Впоследствии, когда он уже был лишен возможности личного участия в политической работе, он с огромным интересом и горячим сочувствием следил за переменами, происходившими в деревне — за ростом коммун и коллективных хозяйств. В ссылке в Узбекистане он много занимался изучением истории декханского земле- и водопользования и написал работу о «пайкалах» — декханских кооперативах по пользованию водой.

Когда проводилась сплошная коллективизация, Майоров понимал всё огромное значение этой меры, хотя и возмущался сугубо жёсткими методами её проведения.

Вообще Майоров был тем, что называется реальным политиком. Он умел схватывать основную правду происходящего, ориентироваться в сложнейших политических условиях, и надо пожалеть, что во время событий, сопровождавших заключение Брестского мира, он отсутствовал в Москве и не мог оказать влияния силой своего

убеждения, логики и политического предвидения на решения фракции левых эсеров по этому вопросу.

Сам он стоял на ленинской позиции необходимости заключения Брестского мира и осуждал убийство барона Мирбаха. Однако со времени этих событий Майоров, как член ЦК партии левых эсеров, репрессировался непрерывно.

Это был прямой и искренний человек, всякое лицемерие было ему чуждо. Как ни тяжело было такому крупному работнику быть оторванным от живой политической деятельности, он никогда не мог бы сделать попытки вернуться к ней ценой отречения от основных принципов своей идеологии, хотя в целом ряде вопросов он солидаризировался с политикой большевиков.

— Ах, только бы никто не помешал — они доведут дело до конца, — не раз говорил он.

За год до ареста он выписал из деревни старика-отца, чего, конечно, не сделал бы, если занимался бы какими-либо рискованными делами. Кроме того, на его полной ответственности лежала судьба сына, который кончал в это время школу. Помимо основной работы — в 1937 году Майоров работал экономистом в лесхозе Башкирии, перегруженный своими плановыми обязанностями, — он много трудился над обработкой большой энтомологической коллекции, собранной в Средней Азии и предназначавшейся в дар Казанскому университету.

Таковы были занятия Майорова к моменту ареста. Совершенно непонятно, почему такому человеку понадобилась бы вдруг реставрация капитализма, защита кулачества, убийство руководителей Башкирии. Почему только в тюрьме этот умный, верный себе во всем человек осознал свои заблуждения, стал каяться, шельмовать себя и наиболее близких ему людей, обрекая их на гибель? Почему, наконец, этого человека приговорили к 25 годам тюремного заключения, т. е. к смерти?

Ещё более несовместимы обвинения в контрреволюции с образом старой известной революционерки Марии Спиридоновой, вступившей в ряды борцов за социализм ещё совсем юной девушкой. Она была исключена из гимназии за политическую неблагонадежность, вступила в партию эсеров и работала пропагандисткой в Тамбове в кружках рабочих и учащейся молодежи. Затем она взяла на себя выполнение террористического акта — убийство палача-карателя генерала Луженовского (148), запарывавшего целые деревни непокорных крестьян. Она убила его на вокзале и была немедленно схвачена железнодорожными жандармами. Её долго избивали тут же на станции, а затем бросили в вагон пьяным казакам на потеху и поругание. Два жандарма (Аврамов и Жданов (149)), впоследствии убитые революционерами, доставили её, едва живую, в тамбовскую тюрьму. Весть об издевательствах над молодой революционеркой возмутила всю русскую и зарубежную общественность. Пришлось заменить ей смертную казнь пожизненной каторгой.

В Акатуйской каторжной тюрьме Спиридонова медленно поправлялась, но слух остался повреждённым на всю жизнь, а отбитые легкие привели к туберкулезу.

Несмотря на пережитое нервное потрясение и болезнь, Спиридонова в тюрьме сохранила бодрость и веру в победу революции, даже в ту пору самой глухой реакции, когда доходившие с воли вести были исполнены безнадежности и упадке.

В Мальцевской женской каторжной тюрьме Спиридонова через сагитированных ею надзирательниц организовала широкую связь путем переписки с остальными

мужскими каторжными тюрьмами и много способствовала тому духу высокой солидарности и принципиальной чистоты, которым отличалась в то время Нерчинская каторга. Хотя тюрьмы её были разбросаны в горах и в тайге на двести-триста вёрст одна от другой, — принципы поведения политических каторжан в отношении администрации и их внутренней коммунальной жизни выработаны были везде одинаковые. Это давало заключённым силу отстаивать своё достоинство против покушений тюремного, иногда очень жестокого начальства.

Спиридонова много училась сама и помогала другим. Её сильная воля, настойчивость, глубокая убежденность и горячее товарищеское чувство создали то уважение, большую любовь и редкую популярность, которая всегда окружает исключительно сильных духом людей.

Когда Февральская революция освободила политических заключенных, они широкой волной в царских поездах, среди цветов и оваций, помчались в Россию.

Очень характерным для Спиридоновой было то, что после десятилетнего заключения, полной оторванности от жизни, которая была на Нерчинской каторге, она не устремилась в этом триумфальном потоке, а осталась работать в Чите, где в это время не оказалось сильных работников-организаторов. В этом центре Забайкалья сразу возник целый ряд острых вопросов, связанных с особыми интересами местного населения — крестьян, забайкальских казаков и бурят. Здесь Спиридонова сразу показала себя большим и серьезным работником. Вокруг неё всё закипело. Создался эсеровский комитет. Пока не был проведен съезд, на котором были согласованы противоречивые интересы различных групп населения, пока не была закончена эвакуация освобожденных политкаторжан, а также эвакуация и трудоустройство всех освобождённых уголовных каторжан, Спиридонова не уехала из Читы, и попала на Всероссийский съезд партии эсеров в Москве (150) уже почти к самому его концу.

Эсеровский комитет в Чите держался особой позиции, которую мы называли «максимализмом» и интернационализмом. Согласно этой точке зрения, наша революция должна будет осуществить программу-максимум, «трудовую республику», т. е. перерасти в социалистический переворот.

На каторге не было никаких газет и журналов, в Чите освобожденные каторжане мутно что-то знали о Ленине и ориентировались в событиях наспех, инстинктивно.

На партийном съезде в Москве Спиридонова держалась той же позиции и возглавила левый блок, объединивший значительную часть съезда. Позднее из этого левого блока создалась партия левых эсеров, в которую ещё до Октябрьской революции влилось большинство членов партии социалистов-революционеров, расколовшейся, таким образом, на два непримиримых лагеря.

Партия левых эсеров, как известно, безоговорочно стала на позиции Октябрьской революции, и представители её работали в отделах ВЦИК и советах на паритетных началах с большевиками, а также получили несколько мест в Совнаркоме.

Спиридонова руководила Крестьянской секцией ВЦИКа, провела крестьянский съезд, и в самый ответственный период, когда самая судьба революции зависела от поддержки пролетариата революционным крестьянством (151), вела большую работу с непрерывной волной притекавших в Смольный крестьянских делегатов со всех концов республики.

Несмотря на своё большое влияние в партии, Спиридонова все же не смогла создать большинства во фракции при решении вопроса о Брестском мире, но сама она стояла на ленинской позиции необходимости заключения мира. Те, кто присутствовал на знаменательном ночном заседании ВЦИКа, знают, как мучительно остро стоял тогда этот важнейший вопрос перед каждым из голосовавших, и каким незначительным большинством, после каких убеждений и дебатов удалось Ленину отстоять свою правильную точку зрения.

После убийства барона Мирбаха вся фракция левых эсеров на Съезде Советов в Большом театре была арестована, что привело к стихийному вооружённому выступлению левоэсеровских боевых сил, находившихся в Москве, в защиту делегатов своей партии, приехавших на съезд со всех концов республики, и к дальнейшим совершенно непредвиденным и неорганизованным выступлениям, вошедшим в историю революции как левоэсеровский «бунт», «путч» и даже «восстание».

Спиридонова была после этого арестована, судима и приговорена к одному году «санаторного режима». Эта странная формулировка приговора объяснялась тем, что во время суда, на котором Спиридонова не присутствовала, она была больна и кашляла кровью.

Для отбытия наказания её поместили сначала за загородку около караульного помещения в Кремле, а затем в мрачные и сырые комнаты Чугунного коридора. Оттуда её вывели на волю охранявшие её чекисты (152), которые не могли мириться с её арестом.

В течение года Спиридонова скрывалась — больная, голодная — в Москве и наконец была арестована на своей квартире в то время, когда она лежала в тифу. Её отвезли в больницу ВЧК.

С тех пор она непрерывно находилась то в заключении, то в ссылках. В самаркандской ссылке, а затем в Ташкенте она работала экономистом в водхозе. В Ташкенте туберкулез очень обострился. С кровотечением и кавернами она поехала, с разрешения ГПУ, в туберкулезный институт в Ялту, но через два месяца её опять там арестовали и привезли в спецбольницу Бутырской тюрьмы. Я там дежурила у её постели, так как тоже была арестована в Ташкенте вместе с Измайлович и Майоровым и отправлена в Бутырки.

В это время шёл процесс Промпартии. Политические настроения Спиридоновой в этот период мне хорошо известны. Они характеризовались, как и настроения Майорова, убеждением в том, что, несмотря на ряд неправильных шагов, большевистская партия идёт в основном по единственно возможному при данной ситуации твёрдому пути.

К своему неожиданному аресту и своеобразному методу лечения туберкулезного обострения она относилась юмористически и верила в свой «могучий организм».

В уфимской ссылке она работала старшим консультантом Сельхозбанка. В работу она вкладывала всю себя, считая её тоже своим малым вкладом в дело строительства социализма.

— Какое это всё-таки счастье, что мы можем иметь нужную и интересную работу, — говорила она, — хоть это-то нам осталось.

Всегда со страстным интересом следя за политическими событиями, она ясно понимала, что путь к широкой общественной работе для неё закрыт навсегда, но

по-прежнему революция, её судьба, её победа — были для Спиридоновой и жизнью, и сущностью, и основным интересом.

Действительно вопиющим является приложение к ней эпитета контрреволюционерки.

В стремлении унижить, дискредитировать и опорочить поистине светлый, героический образ этой женщины с её особой неповторимой судьбой, М. А. Спиридонову изображали «истеричкой», «левоэсеровской богородицей» (153), и даже был выпущен фильм, в котором показано, как Спиридонова ночью на кладбище советуется с Савинковым насчет истребления большевиков. Много говорилось в связи с её именем о культе, созданном вокруг неё эсерами, как всегда пуская в ход версию о «герое и толпе» как одной из основ народнической идеологии.

Все это глубоко неверно. М. А. Спиридонова была очень скромным человеком. Она мучительно страдала от слишком громкой своей популярности, отводила, как могла, приписываемые ей заслуги, и не её вина, если то время требовало ореола для своих мучеников и героев. Во всяком случае, за свой переход на левые позиции Спиридонова получила от своих бывших единомышленников полную меру оскорблений и инсинуаций. То же было и тогда, когда она не смогла и не хотела подчинить полностью свои взгляды требованиям господствующей партии.

Это был очень умный, волевой и безупречный человек, до конца преданный своему долгу и ни во что не ставивший свою личную судьбу. В то время как она с обычной добросовестностью и увлечением трудилась над анализом груды районных финпланов, днем — на службе, ночью — за своим столом, удивляя близких своей работоспособностью; в то время как, с другой стороны, она доходила до ригоризма в последовательном проведении принципов социалистического поведения в личной жизни — катастрофически и неожиданно, чьей-то слепой и жестокой прихотью она получила последний удар.

Сытые, наглые, уверенные в своей безнаказанности люди, не имеющие представления о том, что такое революционная борьба, сыплют ей на голову обвинения, одно нелепее другого: она организует во всем Союзе чудовищный заговор, она ведет переговоры с буржуазными правительствами, она коварно подговаривает рядовых левых эсеров перебить всех башкирских наркомов, причем требует сделать это так, чтобы «головка» (т.е. она и члены ЦК) не пострадала (слова Маковского).

Всеми силами Спиридонова защищает себя и товарищей своих от клеветы — днем и ночью из последних сил — и наконец, поняв, что имеет дело со злонамеренным, невежественным и безответственным следствием, объявляет голодовку, требуя перевода дела в более высокую и компетентную инстанцию — в Москву.

Москва «оказывает ей справедливость» — она получает 25 лет тюремного заключения.

В Ярославской политической тюрьме, в суровой изоляции она продолжает в одиночку бороться против унижительных требований режима. Многократное сидение в карцерах изматывает окончательно её здоровье. Я видела её мельком в этапе — тень прежней М. А. Спиридоновой, страшно постаревшую, едва держащуюся на ногах, но с ясным и спокойным лицом.

Третьим человеком большой и чистой души и такой же чистой и большой жизни была Александра Измайлович, неизменный и неразлучный друг Спиридоновой на

каторге, в революционной работе и за многие годы тюрем и ссылок в советское время.

Она ушла в революцию вместе с сестрой своей Екатериной прямо со школьной скамьи и вела подпольную работу в Средней Азии. Катя неудачно стреляла в адмирала Чухнина в Севастополе и была тут же расстреляна по его приказу (154).

Александра бросила бомбу в царского генерала Курлова (155) и была приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Я увидела её впервые на каторге, среди детей уголовных каторжанок. Это были малыши, которых матери привезли с собой. Они жили под нарами общих камер, заброшенные, полуголодные, покрытые насекомыми, в душном, прокуренном махоркой воздухе, всеми обижаемые и развращаемые. Измайлович извлекла этих детей на воздух в светлый тюремный коридор и создала нечто вроде детского сада, где малыши получали уход, воспитание и даже начатки грамоты. Когда это начинание было запрещено, Измайлович ушла в научные занятия. Она много училась сама и учила других, но тюремные условия подточили здоровье этого жизнерадостного, энергичного, полного сил человека — цинга, тяжелая форма малокровия, головокружения рано состарили её.

Первое время после освобождения в 1917 году Измайлович работала в Черниговской губернии в качестве пропагандиста и организатора в деревнях. Потом она была избрана членом ВЦИКа и членом ЦК партии левых эсеров и осталась работать в Москве. После убийства Мирбаха непрерывно репрессировалась. В ссылке занималась частными уроками.

В Уфе она работала экономистом-финансистом в Коммунальном банке, но плохое здоровье заставило её бросить работу. Она стала вести наше общее хозяйство и начала писать книгу художественного содержания, которую и закончила незадолго до ареста. Книга, конечно, пропала.

Последние два года литературная работа поглощала её целиком, и она как-то совершенно отошла от политических интересов, едва просматривая газеты (156). Арест, разумеется, и для неё явился неожиданностью. Она сначала думала, что это наш, так сказать, «очередной» арест для перемены места ссылки: мы находились в Уфе уже семь лет и ждали конца срока.

Заключение Измайлович переносила очень тяжело.

— Вашу старуху мы перестали беспокоить: она всё равно не доживёт до конца следствия, совсем плохая, — весело балагурил следователь.

Но сломить морально её, конечно, не удалось. Когда я видела её перед судом, она удивила меня своей ясностью, душевной приподнятостью и спокойствием, которое даётся сознанием очень трудного, но выполненного долга.

В самой нелепости и дикости обвинения она видела то, что это массовое истребление людей является каким-то необъяснимым роковым недоразумением, что оно вызвано внешней силой и должно рассеяться, как всякая ложь.

От одной её сокамерницы по Орловскому политизолятору, где она находилась во время прихода в Орёл немцев (157), я узнала, что и там Измайлович сохраняла спокойствие, ясность и подбадривала шуткой, интересными рассказами унывавших товарищей по заключению.

Таковы в самых общих чертах три центральных фигуры процесса, далекие от того, какими их хотело изобразить следствие.

Что сказать об остальных, биографии которых мне не так хорошо известны?

Павел Егоров, Алексей Грошев (158), Лидия Арбузова были прекрасными людьми с непоколебимыми революционными убеждениями, простые, честные, неподкупные советские труженики, чуждые и озлобления, и пустых надежд. Они строили свои семейные жизни, занимались самообразованием, радовались природе, хорошим книгам, музыке, шахматам, много и хорошо работали перед тем, как предстать перед чудовищным следствием.

Когда пришло время, они сумели доказать в тяжелых мучениях свою стойкость и верность принципам чести и справедливости. Вернее всего, что все они погибли в лагерях «без права переписки», откуда ещё никто не возвращался.

Бориса Белостоцкого я впервые увидела в 1924 году в Калуге, где я заканчивала трехлетний срок ссылки. Следовало найти повод для нового ареста — не выпускать же меня было на волю... И вот однажды, зимним утром, ко мне явился молодой паренек. Он привез отпечатанный на гектографе экземпляр студенческого журнала «Революционный авангард» и рассказал, что в Московском университете по инициативе некоего Шапиро (159) создалась небольшая группа студентов. Они определили себя как левые эсеры и вот издают этот журнальчик. Шапиро послал студента ко мне посоветоваться:

— Поедешь к генералу, пусть даст указания.

Я была удивлена. Никакого Шапиро я не знала, и всё это показалось мне странным. Паренька я накормила и, оставив у себя, ушла на работу. А когда я возвращалась, дом был окружен, меня арестовали. Студент успел убежать через сад и был арестован уже в Москве на своей квартире. Впоследствии выяснилось, что Шапиро был провокатор, сам организовал и сам выдал группу студентов, и Белостоцкого заслал ко мне с провокационной целью. С тех пор Борис Белостоцкий репрессировался всю жизнь (160) и теперь предстал в качестве террориста в уфимском деле уже взрослым семейным человеком. Так юношеская ошибка, созданная искусственно, провокационным путем, погубила навсегда хорошего и способного человека.

В Уфе он очень мало соприкасался с нами. На следствии энергично и стойко защищался. Его мучили особенно сильно: несколько раз его приносили в камеру бесчувственного — после многодневных допросов в стоячем положении. Он опухал до неузнаваемости, и приходилось разрезать валенки, чтобы снять их с отекающих ног. Белостоцкий никогда не был тесно связан с партией и лишь в тюрьмах и ссылках узнал, что такое левые эсеры. Он просто хотел жить и работать. Оговаривал его главным образом Драверт.

Следует упомянуть ещё нескольких человек, совершенно случайно попавших на орбиту следствия.

Таким был Русских Харитон Андреевич, попавший под наблюдение за знакомство с Майоровым. Когда-то, в далекое время, когда партия была ещё у власти и имела очень большое число членов среди рабочих, интеллигенции и крестьян, Русских примыкал к левым эсерам, но, как только партия стала нелегальной, сразу же выбыл из неё, не сохранив никаких связей с ней и даже никаких знакомств.

В Уфе его свела с Майоровым их общая любовь к далеким лесным прогулкам. Других точек соприкосновения у них не было. Это был очень хороший, честный человек, единственный кормилец огромной семьи. Работал он в Госплане и больше всего

боялся как-нибудь оступиться на жизненном пути — потерять работу, заболеть... От его заработка зависела вся семья: больная жена, старуха-мать и четверо детей. Беда пришла, откуда он её не ждал, и погубила всех их. Его очень томили в карцерах, а следователь убеждал его:

— Сознайтесь, ведь больше пятнадцати лет вам все равно не дадут.

Какова его судьба, я не знаю (161).

Галина Затмилова (162), жена Павла Егорова, была комсомолкой, но выбыла оттуда после брака с ссыльным Егоровым. Она сохранила свои молодые революционные убеждения, восторгалась Павлом Корчагиным (163). Училась заочно в техникуме и вела несложное домашнее хозяйство.

Новикова Елена (164), беспартийная, совершенно аполитичный человек, тоже была отнесена к группе левых эсеров. Это объяснялось нашей чисто личной дружбой с семьей Новиковых. Когда её муж сидел в изоляторе, она жила в Уфе с нами, очень много работала, и мне приходилось возиться с её детьми. Когда же её мужа освободили, она поехала к нему, там умер её сын и нервно заболела дочь. Совершенно разбитая душевно, с освобождённым мужем и нервно больной дочерью она приехала обратно в Уфу. Семья эта жила совершенно особняком. Оба работали и, кроме нашего дома, должно быть, нигде не бывали. Константина Новикова (165) арестовали одновременно с нами, как и всех прочих ссыльных. Он числился эсером-«масловцем» (166) и репрессировался все время по этой линии, хотя очень давно отошёл от всякой политической жизни и политических интересов.

Следствие не нашло никакого обвинения для Елены Новиковой, кроме дружбы со мной, и все же Военная коллегия дала ей десять лет тюремного заключения. Она умерла через два-три года после ареста.

Я пишу это заявление, обращённое к правительству, ЦК КПСС и в Прокуратуру не для того, чтобы получить реабилитацию.

Мне уже много лет, я не совсем здорова, и выгоды, сопряжённые с формальной реабилитацией, меня не соблазняют.

Я пишу чистую правду, которую, кроме меня, никто не скажет, об одном из бесчисленных преступлений 1937 года; пишу для того, чтобы те, кому ведать надлежит, знали эту правду и чтобы хоть один голос поднялся в опровержение клеветы, прочно припаянной к именам людей с безупречной совестью, во всём согласных с революцией, несмотря на трагизм личной судьбы, людей, чью светлую память я буду чтить до последнего дыхания.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Калужское дело Ирины Каховской

Под гласный надзор Калужского губотдела ГПУ Каховская была выслана из Москвы по решению Коллегии ГПУ от 8 апреля 1922 г. Перед этим она более года, начиная с 21 марта 1921 г., находилась в заключении в столичных тюрьмах. В следующий раз она была арестована 22 марта 1925 г. по обвинению в «хранении нелегальной литературы и в к-р. работе против Советской власти».

В Калуге, считавшаяся родственницей повешенного декабриста, революционерка жила на проспекте Декабристов, в доме № 16. Согласно документам, она работала заведующей клуба совработников и вступила во Всероссийский союз работников просвещения (5 марта 1923 г.). Впоследствии в письме от 28 марта 1954 г. к своей близкой знакомой Е. А. Новиковой-Бацер она сообщала интересные подробности: «Я работала в Калуге с 21 по 25 год с большим увлечением, начав с книжного шкафа, конфискованного в каком-то помещичьем доме, где стояло около 500 томов приложений к “Ниве”. Библиотека [начиналась] из одной сырой комнаты, холодной и прокопченной. В 25 году насчитывалось 28 тысяч книг и помещение с двумя читальными залами и детским отделением имело вполне приличный вид» (167).

Из Калуги в течение 1923 г., с разрешения ГПУ, Каховская дважды отлучалась, для того чтобы навещать находившуюся на лечении в здравнице в Москве (Неопалимовский пер., д. 5) больную мать. 1 января 1923 г. Августа Федоровна сообщила в организацию «Помощь политическим заключённым» (бывший Политический Красный Крест): «Прилагая копии заявлений, поданных в Г. П.У. мною и дочерью о том, чтобы ей разрешили приехать для свидания со мною в Москву, я очень, очень прошу Красный Крест, если возможно, поспособствовать тому, чтобы разрешение было получено возможно скорее и не было бы поставлено в зависимость от усмотрения местного отделения (в Калуге) Г. П.У., так как там ей всячески вредят, мешают получить работу и, конечно, постараются помешать её выезду. Надеюсь, что мне не будет отказано в моей просьбе и все, что возможно, будет Вами сделано» (168).

В ближайший круг общения Каховской в калужский период жизни входили другие ссыльные: Вера Осиповна Корсак (член РСДРП(м) с 1903 г.), член ЦК меньшевиков, видный публицист Федор Андреевич Липкин-Череванин (участник социал-демократического движения с 1891 г.), а также старшая дочь К. Э. Циолковского, его секретарь и биограф Любовь Константиновна (также меньшевичка по партийной принадлежности). Но самое главное, Каховская установила связь со своими однопартийцами, проживавшими в Калужской губернии.

В докладе ОГПУ о деятельности ПЛСР и Союза эсеров-максималистов за ноябрь-декабрь 1924 г. и январь 1925 г., составленном на основании агентурных данных, говорилось:

«Во главе калужской организации стоит бывший член ЦК партии левых эсеров Каховская Ирина Константиновна (административно-ссыльная). Работу ведет, глав-

ным образом, в деревне, используя для этого свой авторитет и связи с местным крестьянством. Результатом этой деятельности являются частые антисоветские выступления крестьян на местных волостных советских съездах и конференциях с критикой нашей налоговой политики и пр.» (169).

Сама Каховская в мемуарном очерке — заявлении в ЦК КПСС, Совет министров и Прокуратуру СССР после XX съезда КПСС не вполне верно излагала причины своего нового ареста. Теперь мы можем обратиться к материалам самого архивно-следственного дела, подлинник которого хранится в Центральном архиве ФСБ России (170). Оно представляет так называемую «матрёшку», когда внутри более позднего по времени дела подшито более раннее. В данном случае в деле имеются вторая обложка и материалы дела 1921 г. Титульная обложка дела «По обвин. гр. Каховской», начатого 27 марта 1925 г., имеет № 31370 Регистрационного отдела ОГПУ и № 5 5-го отделения Секретного отдела ОГПУ. Вторая обложка «Дела г-ки Каховской Ирины Константиновны и Носова Степана Васильевича», заведенного Калужским губотделом ОГПУ 22 марта 1925 г., находится между листами 88 и 89.

Материалы дела 1921 г., возбуждённого в связи с арестами социалистов и анархистов во время и после событий в Кронштадте, под № 8884 содержат: протокол допроса, произведенного помощником уполномоченного ВЧК Козловским 25 марта, ряд изъятых личных документов И. К. Каховской за 1920–1921 гг. и другие материалы, о которых было сказано в предисловии к книге.

Постановление о привлечении Каховской к дознанию в Калуге 22 марта 1925 г. было выписано уполномоченным по политическим партиям Блиновым и утверждено начальником губотдела ОГПУ Клиндером (171). Непосредственным поводом к аресту стал визит к ней в воскресенье 22 марта Бориса Белостоцкого в момент проводившегося у Каховской обыска и его побег прямо из-под носа у чекистов. (Подробнее см. в «Заключении»). Приведём характеристику этого человека, составленную начальником 5-го отделения Секретного отдела ОГПУ С. Б. Гельфером:

«БЕЛОСТОЦКИЙ Борис Соломонович, 20 лет, является активным л.с.р. с 1922 года. Принимал участие в издании подпольной газеты (правильно журнала. — Я. Л.) «Революционный Авангард». Связан с секретарем ЦБ Объединения (центральное бюро Объединения ПЛСР и Союза эсеров-максималистов. — Я. Л.), ныне находящегося в заключении, НЕСТРОЕВЫМ (172), и с Заграничной Делегацией П. Л.С. Р. За последнее время деятельно работал на организации экспроприации, над созданием нелегальной типографии. Работу вел исключительно с молодежью, будучи студентом Горной Академии использовал свои связи со студенчеством для л.с.р. работы. Был также связан с известной л.с.р. (б. членом ЦК) КАХОВСКОЙ Ириной Константиновной. <...>» (173).

Следствие по делу Белостоцкого, задержанного неподалеку от своего дома на улице в Москве спустя три дня после ареста Каховской, было выделено в отдельное производство. В тот же день, 25 марта, на хуторе Данишевской колонии близ Калуги был арестован С. В. Носов. Остановимся на его биографии более подробно. Носов был калужанин, происходил из крестьян, хотя его отец работал кузнецом в железнодорожных мастерских. Родившийся в 1897 г. Носов в юности окончил техническое училище и тоже начал трудиться на железной дороге рабочим-модельщиком. Во время Первой мировой войны он был мобилизован и, как храбрый солдат с обра-

зованием, дослужился до чина подпоручика (по др. данным — поручика). После революции он, как крестьянин по происхождению, присоединился к левым эсерам. В момент свержения Временного правительства Носов лежал в лазарете. Вернувшись на родину, он возвращается к работе в железнодорожных мастерских и становится членом Калужской организации ПЛСР. В 1919 г. Носов был призван в Красную армию: сначала в качестве преподавателя командирских курсов, а затем на командные должности на деникинском фронте. За боевые заслуги он был награжден орденом Красного Знамени. Демобилизовавшись «по инвалидности», он поселился на хуторе и занялся «хлебопашеством». Носов женится, и в браке с Глафирой Петровной у него рождаются дети-погодки: дочь Екатерина и сын Николай. В его хозяйстве были две коровы, лошадь, 20 десятин земли. В то же время он не порывает с левыми эсерами. Его имя значится в перечне левых эсеров в печатном чекистском справочнике, отпечатанном под грифом «совершенно секретно» в типографии ВЧК в 1921 г. (174) (всего по Калужской губернии в нем были учтены 42 члена ПЛСР). В обвинительном заключении по делу Носова в 1942 г., в частности, говорилось: «С 1918 по 1925 год являлся левым эсером и имел непосредственную связь с членом ЦК л. эсеров КАХОВСКОЙ, руководителем Калужской организации л. эсеров Парахиным (175) и др.» (176).

При аресте Носова у него в сарае был изъят целый склад разнообразной левоэсеровской литературы, включая издания, растиражированные Борисом Белостоцким и его товарищами на гектографе. Но вернемся к самой Каховской. На первом допросе 22 марта она подтвердила, что её посетил знакомый, но отказалась назвать его, заявив: «Я революционерка и на вопросы, касающиеся всех моих знакомых, и вообще посещающих меня лиц я никогда ответов давать не буду» (177).

На втором допросе 25 марта следствие интересовалось изъятой во время обыска перепиской. На очевидный вопрос — «С кем вы имеете письменную связь с ЛСР» — был дан очевидный ответ: «Имею переписку с Измайлович, Камковым, Спиридоновой, с заключенными в Соловках товарищами, с Трутовским высланным» (178). Следует отметить, что подруги Каховской по каторге и соратницы по левоэсеровскому ЦК Александра Измайлович и Мария Спиридонова одно время находились в изоляции в Калужской губернии — в совхозе «Воронцово» (там же в это время были сосредоточены лидер правых эсеров А. Р. Гоц, член ЦК левых эсеров И. А. Майоров, ставший мужем Спиридоновой, и другие политзаключенные). Но на вопрос о Белостоцком Каховская ответила, что такого не знает. Упорствовал на первом допросе и Носов. Допрашиваемый в Москве Белостоцкий также отрицал факты посещения Калуги.

Однако в руках у следствия имелись показания свидетелей: прислуги в доме № 16 по проспекту Декабристов А. С. Андрющенковой и комсомольца В. В. Астафьева. Последний из них видел человека, перелезавшего через забор, и слышал от первой о двух ночных визитах этого незнакомца к Каховской прежде. К тому же осенью 1924 г. Белостоцкий выронил на станции Калуга студенческое удостоверение, переданное местным дорожно-транспортным отделом в Секретный отдел ОГПУ. Наконец, во время очной ставки с доставленным в Москву Носовым 30 марта калужанин признался в факте посещения Белостоцким его хутора.

Что касается Каховской, то она продолжала отпираться и на допросе в Москве 27 марта: «Никакой партийной работы я за время пребывания в ссылке в Калуге не вела <...>Белостоцкого я впервые увидела за несколько минут до моего ареста. Свидание продолжалось всего несколько минут и за это время никаких политических разговоров с ним мы вести не успели. Относительно “Революционного Авангарда” я впервые узнала в губотделе ОГПУ. О том, что Белостоцкий имеет отношение к этому журналу мне ничего не известно. Цели приезда Белостоцкого мне не известны. <...>До ареста Белостоцкого ни в Москве, ни в Калуге не встречала» **(179)**.

Но улики и доказательная база следствия были налицо. (Из числа вещественных доказательств в деле был оставлен пакет с вложенными в него гектографированными изданиями: журналом «Революционный авангард», № 5–6 (январь-февраль) за 1925 г., и брошюрой «Наши задачи».) В итоге постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 3 апреля 1925 г. Б. С. Белостоцкий был приговорен к заключению в концлагерь сроком на 3 года **(180)**. С. В. Носов был осужден условно, но дальнейшая его судьба также сложилась трагически **(181)**.

3 апреля ОСО при Коллегии ОГПУ также вынесло приговор Каховской: 3 года концлагеря с заменой на высылку в Вятку на тот же срок. В её деле имеется важный документ — листок из отрывного календаря с автографом Ф. Э. Дзержинского:

«т. Дерибасу

Е. П. Пешкова обратилась ко мне, нельзя ли больную чахоткой И. Каховскую вместо Вятки направить куда-либо на Юг. Так как вятский климат для неё будет слишком суровым.

1/V 25 Ф. Дзержинский» **(182)**.

К мнению главы ОГПУ и председательницы организации «Помощь политическим заключённым» (бывшего Политического Красного Креста) Пешковой, естественно, прислушались, и в итоге Каховская ненадолго оказалась в Ставрополе-на-Волге (где в юности вела революционную пропаганду среди крестьян), а оттуда была переведена в Самарканд, где, как читатели уже знают, соединилась с отправленными туда ранее Марией Спиридоновой и Александрой Измайлович.

«Заключение»

1925 марта «31» дня, мною сотрудником 5-го отделения СО ОГПУ — Кузьминым, рассмотрены дела № 31370 гр-н: Каховской Ирины Константиновны и Носова Степана Васильевича, арестованных, содержащихся во внутренней тюрьме ОГПУ и обвиняющихся первая по 62 и второй по 62 и 72 ст. ст. Уг. Код. (183), и № 31354 гр. Белостоцкого Бориса Соломоновича, арестованного, содержащегося во внутренней тюрьме ОГПУ и обвиняющегося по 62 и 72 ст. Уг. Код.

Нашёл:

Каховская Ирина Константиновна, 1887 г. рожд., уроженка Киевской губ., г. Тараща. Русская подданная, образования высшего, служащая в библиотеке Союза Совработников в г. Калуге, административно-ссылная, член партии лев. эсеров.

Носов Степан Васильевич, 1897 г. рожд., уроженец Калужской губ., Калужского уезда, Бабаевской вол., дер. Данишевская. Русский подданный, образование — ниже среднего. Крестьянин-хлебопашец, беспартийный. Ранее состоял в партии левых эсеров.

Белостоцкий Борис Соломонович, 1904 г. рожд., уроженец Гродненской губ., Слонимского уез., местечка Деречин. Русский подданный, студент Горной Академии. Беспартийный (по его словам).

Обстоятельства дела:

В 1924 г. 5 отд. СООГПУ были получены сведения, что административно-ссылная в Калуге гр. Каховская занимается нелегальной левоэсеровской деятельностью, завязывает связи с московскими подпольными ЛСР и вовлекает в работу рядовых левых эсеров в г. Калуге. Одним из московских подпольных ЛСР, с которым завязала связь Каховская, является студент Московской Горной Академии Белостоцкий Борис Соломонович. Белостоцкий, с целью получения инструкций, восстановления партийных связей, в 1924 г. ездил к Каховской в г. Калугу и по возвращении своём в Москву предпринял издание нелегального журнала «Революционный Авангард» и «Наши Задачи».

В 1925 г. в марте месяце Белостоцкий, уже с отпечатанными на шапирографе экземплярами нелегального журнала «Революционный Авангард» и «Наши Задачи», поехал в Калугу с целью распространения указанных журналов и переговоров с Каховской относительно дальнейшей партийной работы и выяснения возможностей постановки нелегальной типографии.

Калужскому Губотделу ОГПУ стало известно, что Белостоцкий по поручению Каховской повез нелегальную литературу к крестьянину Носову, который бывал иногда у Каховской.

Произведенным обыском у гр. Каховской ничего обнаружено не было, причем во время входа сотрудников ОГПУ в квартиру Каховской, находившийся у неё Белостоцкий сбежал, прыгнув через забор, и был арестован только в Москве.

Произведенным обыском у гр. Носова было обнаружено: перепечатанные на машинке лево-эсеровские статьи, журнал «Знамя Борьбы» (184) № 3, журналы «Революционный Авангард» и «Наши Задачи».

На допросе гр. Каховская заявила, что Белостоцкий действительно в этот день к ней приезжал, но был всего несколько минут и ни о чем с Белостоцким они не успели переговорить, т. к. в это время пришли с обыском. От дальнейших показаний по существу дела отказалась.

Гр-н Носов показал, что с Каховской познакомился в 1922 г., когда она прибыла в Калугу отбывать ссылку, она его втянула в партийную работу, по её поручению Носов в 1923 г. ездил в Москву к максималисту Нестроеву, от которого получил левоэсеровскую литературу для Каховской и калужских левых эсеров. 21 марта с.г. к Носову на хутор явился молодой человек, который назвался Русиновым Виктором, сообщил, что он приехал от Каховской, в доказательство чего сообщил пароль и передал Носову нелегальную литературу: журналы «Революционный Авангард» и «Наши Задачи», которые они спрятали в сарай.

Гр. Белостоцкий вначале упорно отрицал своё знакомство с Каховской и Носовым, а также поездки в Калугу и привоз Носову литературы, а при очной ставке с Носовым от всяких показаний категорически отказался.

Следствием установлено: 1) что Белостоцкий ещё в 1924 г. ездил в Калугу, по-видимому, с партийными целями, доказательством чего служит отношение ОДТ (185) ОГПУ ст. Калуга за № 5474 от октября 1924 г. в Московскую Горную Академию, при котором препровождается утерянное Белостоцким на ст. Калуга студенческое удостоверение за № 5377, что Белостоцкий в марте 1925 г. ездил в Калугу к Каховской с партийными поручениями подпольного характера и привез нелегальную левоэсеровскую литературу, которую по поручению Каховской, с целью соблюдения конспирации, сдал крестьянину Носову; 2) что Каховская руководила подпольной работой левых эсеров в Калуге, поддерживала связь с московским подпольем ЛСР и санкционировала, как старый подпольный работник ЛСР, печатание и распространение нелегальной литературы; [3]) что Носов получал от Белостоцкого нелегальную левоэсеровскую литературу.

На основании всего вышеизложенного и материалов, имеющих в деле, считаю предъявленное Белостоцкому и Носову обвинение по ст. 62 и 72, а Каховской по ст. 62 Уг. Код. доказанным, при смягчающих вину Носова обстоятельствах как малознающего крестьянина, служившего и отличившегося в Красной Армии, а посему

—
Полагал бы:

Дела № 31370 по обвинению гр-н Каховской Ирины Константиновны по ст. 62 Уг. Код., Носова Степана Васильевича по ст. 62 и 72 УК, № 31354 по обвинению гр-на Белостоцкого Бориса Соломоновича по 62 и 72 УК передать на рассмотрение Особого Совещания при Коллегии ОГПУ.

Сотрудник 5 отдел. СО ОГПУ (подпись) /Кузьмин/

Согласен: С. Гельфер (186)

Предлагаю Белостоцкого заключить в тюрьму сроком на 3 года, Каховскую выслать в Вятскую губ. сроком на 3 года, Носова выслать в ПП по Киркраю (187), но принимая во внимание его социальное происхождение, приговор считать условным.

Андреева **(188)** 1.04.25

Белостоцкому тюрьму на 3 года. Каховской лагерь на 3 года, но ввиду болезненного состояния после Эйхгорновских пыток — заменить ссылкой в Вятку на тот же срок. Носова — согласен.

Т. Дерибас **(189)**

3/IV 25

ЦА ФСБ. Д. Р-44516. Л. 16–18.

Ярослав Леонтьев

После Гулага

Тех, кто захочет лучше узнать про детские и отроческие годы жизни Ирины Константиновны Каховской, про её революционную работу, теперь можно адресовать к моему очерку «Ирина Каховская. Жанна д'Арк из сибирских колодниц» в совместной книге Я. В. Леонтьева и Е. В. Матонина «Красные», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» в год столетия революции (2017). А здесь мне осталось рассказать о её последнем периоде жизни.

Начать стоит с рассказа о спутнице Каховской на протяжении последних двух десятилетий биографии, урна с прахом которой была захоронена в могиле «сестры» в малоярославецкой земле. Мария Яковлева, подобно Ирине Константиновне, принадлежала к старинному дворянскому роду. Эта ветвь Яковлевых, правда, не имела отношения к роду Ивана Яковлевича — отца А. И. Герцена, но зато, по свидетельству самой Марии Николаевны, её прадедом по матери был знакомый А. С. Пушкина, литературный критик и пародист Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866). Племянник поэта-баснописца, министра юстиции И. И. Дмитриева, он был известен также в качестве председателя «Общества громкого смеха», литературного объединения, близкого к декабристам (190).

С юности М. Яковлева, как и её предки, тоже писала стихи. Увлечение толстовским учением побудило её вступить в переписку с Л. Н. Толстым. В 1910–1911 гг. она работала в «Толстовском музее <...> по составлению карточного каталога» (191). В 1920-е гг. Яковлева приобрела некоторую известность в литературных кругах, публикуясь под псевдонимом Марианна Ямпольская. Она принадлежала к секции «Неоклассики» Всероссийского союза поэтов, лидером которых был хороший знакомый С. Есенина поэт Н. Н. Захаров-Мэнский. Стихи Яковлевой были напечатаны, например, в двух сборниках «Лирика», выпущенных «неоклассиками» в 1925 г. В наше время подборка лагерных стихотворений Марианны Ямпольской была опубликована в сборнике «Поэзия узников ГУЛАГА» (192). Отличный очерк о ней появился в «Летейской библиотеке» (сначала в ЖЖ, а затем в одноименном печатном издании Александра Соболева в 2013 г.).

Арестованная в 1937 г. Яковлева была приговорена к 8 годам лагерей. Как вспоминал в этой связи старый меньшевик и политзэк Д. М. Бацер: «Среди лагерных товарок И. К. (Каховской. — Я. Л.) была малоизвестная поэтесса Мария Николаевна Яковлева (Марианна Ямпольская), отбывавшая наказание за тяжчайшее преступление: она состояла в переписке с Роменом Ролланом. Человек она была, по словам И. К., “в жизни вообще беспомощный, вернее непрактичный, и к борьбе за существование неприспособленный, хотя и усерднейший работяга” (письмо 1955 г.). Чуть ли не с первых дней знакомства Мария Николаевна нашла в И. К. моральную опору, без которой она, возможно, и не вынесла бы тягот лагерной жизни. Эти две столь разные женщины — И. К., совмещавшая редкостную мягкость, доброту и терпимость с непре-

клонной волей, решительностью, а в том, что касается моральных норм поведения, беспощадность и к себе, и к другим, — и М. Н., безукоризненно порядочный, но слабый, легко поддающийся унынию, ищущий крыла, под которым можно укрыться, — стали почти неразлучными» (193).

В 1949 г. Яковлева, как и Каховская, тоже была арестована повторно, но, в отличие от Ирины Константиновны, приговорена к пожизненной ссылке в Казачинский район Красноярского края. «С осени 1950 по август 1953 г. я прожила в Казачинске, Красноярского края, на самом берегу Енисея, — вспоминала Мария Николаевна. — Там было очень трудно материально: на работу никуда не брали, хотя вакансии были несколько раз. Выручали периоды годовых и полугодовых отчетов; тут местные машинистки никак не могли справиться, приглашали меня, и в течение 2 недель, работая в двух-трех учреждениях в общем до 12 часов (и больше) в сутки, зарабатывала 800-900 р. На это можно было жить несколько месяцев — до следующего отчетного периода».

После смерти Сталина и начавшихся послаблений две пожилые подруги вновь обрели друг друга и стали восстанавливать оборванные связи. Так, Каховской даже удалось разыскать своих товарок по царской каторге — бывших эсерок Екатерину Бибергаль (подругу юности А. С. Грина) и Надежду Терентьеву (вдову расстрелянного М. Д. Закгейма). Уже живя в Малоярославце, она навестила в Ленинграде Бибергаль и провела несколько дней у Терентьевой в известном Доме политкаторжан на ул. Чаплыгина (бывший Машков пер.) в Москве (194). Оживлённая переписка завязалась у Каховской с Еленой Андреевной Новиковой-Бацер, племянницей известного писателя-пушкиниста И. А. Новикова и женой упомянутого бывшего меньшевика Д. М. Бацера (195).

В письме от 6 октября 1954 г. Каховская сообщала Новиковой: «14 сентября мы получили возможность уехать из Канска, но нам некуда ехать, да собственно и ни к чему. Очень хочется только природы средней полосы России. Здесь очень сурово, нездорово, уныло, а природа так далеко, что недоступна...» (196). Затем, однако, настроение начало меняться в пользу переезда, и в начале 1955 г. Каховская писала своей корреспондентке: «Маша моя мечтает о Москве, а я ориентировалась одно время на Калугу, теперь мы поговариваем о Тарусе, тихом городке с чудесной природой, где писали Поленов и Левитан, с хорошим интеллигентным обществом (так говорят). Все это пустое, конечно» (197).

Мысль о переезде в Калугу возникла, конечно же, не случайно. Каховская продолжала поддерживать связь с Любовью Константиновной Циолковской, с которой она познакомилась и сблизилась в калужской ссылке в 1922–1925 гг. и у которой, по свидетельству Елены Новиковой-Бацер, ночевала при посещении Калуги в конце 1950-х гг. (198)

Новикова вспоминала о том, как они с мужем решили Каховскую «из Канска извлечь»: «В Малоярославце жила моя старшая сестра Женя (Евгения Андреевна Новикова). Малоярославец был как раз город “стопервиков”, мы написали сестре, и она выразила полное согласие принять Ирину Константиновну с Машенькой» (199). Чтобы не бросать комнату в Канске, отправляясь в неизвестность, Каховская и Яковлева решили, что «Машенька» сначала съездит в Малоярославец «на разведку». В письме к Новиковой и Бацеру от 14 августа 1955 г. Каховская выразила множество эмоций:

«Дорогие друзья, во-первых, позвольте вас горячо благодарить за то, что ласково приняли мою Машу, во-вторых, за деньги <...>, в-третьих, за то, что пристроили нас в Малоярославце. <...>Мне прямо не верится, что это осуществится: кто-нибудь да помешает. Меня пленяет не то, что мы покинем Канск — я уже тут привыкла — а то, что я увижу ряд лиц, дорогих и милых мне и которых я никогда не надеялась увидеть. Да, видно, я родилась под счастливой звездой, что судьба посылает мне ещё эту последнюю радость. Даже жить захотелось и жаль, что мало осталось» (200).

Временно разместившая Каховскую и Яковлеву после их окончательного переезда в Малоярославец Евгения Андреевна Новикова (1895–1975) была младшей сестрой расстрелянного эсера, вологодского кооператора и краеведа К. А. Новикова и женой также расстрелянного за принадлежность в прошлом к эсерам С. Ф. Скороходова. Оба они погибли в 1937 г.: Константин Новиков — в Уфе, Сергей Скороходов — в Ленинграде. С К. А. Новиковым Каховская сдружилась в уфимской ссылке, с его женой Е. М. Зеленской (умершей в лагере на Колыме) им одновременно был вынесен приговор выездной сессии Военной коллегии Верховного суда, а с их дочерью Аней она занималась до ареста. Сама Е. А. Новикова к партии эсеров не принадлежала. В качестве сестры милосердия она прошла фронты Первой мировой войны.

Не желая все же долго стеснять приютившую их хозяйку квартиры (сын Евгении Новиковой Андрей Скороходов в это время служил в армии, а дочь Людмила училась в институте в Москве), Каховская и Яковлева при первом подходящем случае переехали в отдельное жилье. Они поселились в доме по адресу ул. Володарского, 30 (ныне Ивановская улица). Об их жизни в Малоярославце Д. М. Бацер вспоминал: «М. Н. (Яковлева. — Я. Л.) неплохо печатала на машинке и сравнительно легко устроилась на канцелярской работе в каком-то учреждении, где ей мало платили, хотя и ценили как добросовестного и культурного человека. И. К. вела их несложное хозяйство и зарабатывала на жизнь уроками и изготовлением бумажных цветов. Зарботки у неё были более чем скромными, так как от оплаты чуть ли не половины уроков она отказывалась. Поводы для этого были разные — один из учеников оказался настолько способным, что брать за его обучение деньги было бы “просто грешно”; другой к восприятию наук был вовсе неспособен, но родители его так мало зарабатывали, что требовать с них плату было совестно. Ну и т. д.» (201).

Елена Андреевна Новикова-Бацер в своих воспоминаниях добавляла: «Она занималась с каким-то мальчиком математикой, мастерила очень изящные искусственные цветы, делала технические переводы». И все же, по авторитетному свидетельству Бацера, Каховская и Яковлева едва сводили концы с концами. «М. Н. московские друзья подбрасывали машинописную работу, — продолжал мемуарист. — И. К. к праздникам принимала заказы на изготовление бумажных цветов, да раза три ей перепала литературная работа; в «Новом мире» были напечатаны её воспоминания о Горьком; как-то её попросили литературно отредактировать какую-то рукопись, да однажды она перевела с французского чью-то небольшую работу по механике. В те же годы она по собственной инициативе перевела “Маленького принца” Сент-Экзюпери. Е. П. Пешкова, с которой Ирина Константиновна в 1956 году возобновила знакомство, пыталась устроить этот перевод в журнал “Иностранная литература”. Редакция журнала, признавая художественные достоинства перевода, поместить его отказалась по «идеологическим» мотивам» (202).

Воспоминания Каховской «Горький 9 января 1905 года» — о встрече с писателем в читальном зале Публичной библиотеки и в стенах Вольного экономического общества, с небольшим вступлением Е. П. Пешковой, появились в № 3 за 1959 г. С одной из руководительниц Московского комитета Политического Красного Креста в 1917–1922 гг. (и председательницей на последнем этапе существования этой общественной организации), а затем бессменной руководительницей организации «Помощь политическим заключённым» Екатериной Пешковой мемуаристка познакомилась вскоре после революции. Согласно пояснительной записи Бацера к двум письмам Пешковой к Каховской, переданным им в рукописный отдел Библиотеки им. Ленина (ныне РГБ), «по рассказу Е. П. Пешковой», по прибытии из Читы в Москву на съезд партии эсеров в июне 1917 г. бывшие политкаторжанки М. А. Спиридонова, А. А. Измайлович и И. К. Каховская временно останавливались в её московской квартире в Машковом переулке.

Вот что писала Екатерина Павловна Пешкова во вступлении к журнальной публикации:

«В 1917 году, когда широкая волна освобожденных революцией политических хлынула на Петроград и Москву, я впервые встретилась с Ириной Константиновной Каховской, только что вернувшейся с каторги. Запомнились её ярко-синие глаза, вдумчивый взгляд.

Вторая встреча произошла через сорок лет, в 1957 году. Теперь передо мною была седая, усталая женщина. Она рассказала мне о себе.

Окончив институт «благородных девиц» в Петербурге, она поступила на исторический факультет Высших женских курсов.

В день 9 января 1905 года в читальном зале Петербургской Публичной библиотеки она слышала выступление Горького о кровавых событиях этого дня.

Ирина Константиновна знала Горького по открыткам, которые были в ходу у молодёжи того времени. Его речь потрясла её и заставила задуматься о настоящей жизни народа. День 9 января, собрание в Вольно-экономическом обществе раскрыли ей глаза и привели к участию в революционном движении, которому она целиком посвятила свою жизнь.

Я упростила Ирину Константиновну написать свои воспоминания об этом дне. Вскоре она мне их принесла.

В Архиве А. М. Горького хранится много воспоминаний о встречах с Алексеем Максимовичем. О выступлении М. Горького 9 января в Публичной библиотеке есть только одно воспоминание — И. И. Лазаревского. Воспоминания И. К. Каховской, в которых она говорит не только о выступлении Горького в Публичной библиотеке о дне 9 января 1905 года, но и о выступлении Горького в Вольно-экономическом обществе, заполняют эту брешь.

Весною 1905 года я слышала рассказ об этом дне от Алексея Максимовича, тогда его рассказ дополнил его письмо ко мне, написанное в несколько приемов поздно вечером 9 января 1905 года. Оно опубликовано в пятом томе Архива А. М. Горького за № 181. Теперь, читая воспоминания И. К. Каховской, я порадовалась достоверности её изложения.

Думаю, что её правдивый рассказ об этом дне будет интересно прочесть всем».

В письме Пешковой к Каховской от 6 июля 1959 г. сообщалось: «К сожалению, с переводом “сказки” — ничего не вышло. В иностранном отделе Госиздата сказали, что об этом переводе они уже знали, но по теме эта вещь им не подходит» (203).

В одном из писем Каховской к Пешковой из Малоярославца, хранящихся в архиве А. М. Горького в ИМЛИ РАН (всего сохранилось 5 писем, 2 почтовые открытки и 2 телеграммы, выявленные историком литературы Е. Н. Никитиным), от 10 июля 1959 г. она писала: «Не пойму, как получилось, что Вы узнали об этом переводе. С моей стороны ничего не было предпринято для продвижения “Маленького принца” в печать. Я сделала перевод для своей приятельницы Кати Бибергаль, в качестве подарка к Новому Году. Но она умерла, не успев прочесть его. Мои московские друзья Новиковы прочли его, им понравилось, и они решили попытаться отдать его в “Иностранную литературу”. Сказка чудная, просто чудная! Это не детская сказка... Она очень серьезная, мудрая, нежная, поэтичная, волнует до глубины души. Прочтите...» (204).

Как вспоминала дочь Евгении Новиковой Людмила Сергеевна, это она принесла Каховской французское издание А. Сент-Экзюпери: «И. К. с первого взгляда влюбилась в эту прелестную свежую сказку и бросилась её переводить. Мне очень льстило то, что И. К. советуется со мной о переводе некоторых мест. Например, слово “цветок” во французском языке женского рода, Маленький Принц с любовью называет цветок ею; и только потом мы узнаем, что это капризное и очаровательное существо было Розой. И. К. назвала его Розой сразу же — для того, чтобы сохранить оттенок женственности, столь важный для понимания смысла. Перевод И. К. получился замечательный. Позже я встретила очень хороший перевод Норы Галь, но он не произвел на меня впечатления» (205). Пройдет всего три года после кончины Каховской, и «Маленький принц» будет издан «Молодой гвардией» тиражом в 300 тысяч экземпляров.

После реабилитации Каховской Военной коллегией Верховного суда СССР 24 декабря 1957 г. по вынесенному ей приговору выездной сессии Военной коллегии от 25 декабря 1937 г. и постановлению ОСО от 30 июля 1949 г. друзья Каховской «не без труда убедили её подать заявление об установлении ей, как политкаторжанке царского времени персональной пенсии», однако, как отмечал Д. М. Бацер, «в полном противоречии с законом ей было в этом отказано» (206).

Вот как выглядело её заявление в Малоярославецкий райком КПСС в связи с отказом в реабилитации, опубликованное Бацером:

«СЕКРЕТАРЮ РАЙКОМА КПСС

Гр. КАХОВСКОЙ Ирины Константиновны,
прожив. в г. Малоярославце, Калужской обл.,
ул. Володарского, 30

ЗАЯВЛЕНИЕ

14 мая 1958 г. мною было подано в Малоярославецкий Отдел СОБЕСа заявление о назначении мне персональной пенсии, как быв. политкаторжанке.

Согласно «Положению о персональных пенсиях» от 4/XI-56 г. № 1475 (раздел IV, п.п. 34, 35, 36) я имею на это полное право.

Однако, по разъяснению Райсобеса, Исполком отказал мне в моем ходатайстве на основании следующих причин:

1) Борьба против царизма с 1905 г., на которую я указывала в автобиографии (поскольку она проходила в рядах партии с.-р.-максималистов), отнюдь не является заслугой перед Родиной, хотя она и каралась при самодержавии каторжными работами.

2) Сама «каторга» не есть заслуга и не может учитываться даже при назначении трудовой пенсии, как трудовой стаж, а не только для персональной пенсии.

3) Сведения, которые я даю в автобиографии, якобы хронологически несовместимы, а именно: я указываю в автобиографии, что работала как член ВЦИК 2-го, 3-го, 4-го созывов в качестве заведующей Агитотделом <...>, а в июле 1918 г. работала на Украине в подпольной организации при немцах.

Этого якобы в действительности быть не могло, так как не могло же до июля 1918 г. состояться целых 5 съездов Советов.

Все эти причины отказа являются настолько необоснованными и несерьёзными, что я вынуждена протестовать...» (207).

Тем не менее, «никакого ответа на своё письмо она не получила, и персональная пенсия ей так и не была установлена» (208). Жить ей оставалось недолго. Летом 1958 г. малоярославецкий врач А. Б. Иванова поставила ей страшный диагноз: рак печени. Но даже самые близкие друзья в течение года ничего не знали об её болезни. Каховская принимала аналгин и не хотела никого беспокоить. Но к концу лета 1959 г. она стала испытывать мучительные острые боли, а желудок перестал принимать пищу. Приглашенный из Обнинска специалист-онколог нашёл её безнадежной. Попытки друзей устроить больную в онкологическое отделение Обнинской больницы, находившейся в ведении 4-го управления Минздрава (т.е. в подчинении ЦК КПСС), не увенчались успехом. Но у одной из лагерных товарок Каховской Ц. Я. Шапиро был выход на хорошую личную знакомую «первой леди» Советского Союза Н. П. Хрущевой. Супруга главы КПСС позвонила начальнику 4-го управления и попросила помочь тяжелобольной Ирине Константиновне.

Как фиксировал Бацер, «далее события разворачивались с кинематографической быстротой: уже на следующий день — 28 февраля — по телефону было дано соответствующее указание в Обнинск, и в тот же день оттуда прибыли в Малоярославец на санитарной машине два врача, <...> и две медсестры». Однако Каховская категорически отказалась от переезда, заявив: «Дайте мне спокойно умереть дома». Хотя к ней тут же приставили сиделку-медсестру, исход уже был предрешён. 1 марта 1960 г. Ирина Константиновна скончалась. По воспоминаниям Бацера, «за все время болезни никто не слышал от неё ни стоны, ни звука жалобы. Кто бы ни зашёл к ней, она встречала его подобием улыбки и всегда, до последнего дня, шёпотом, едва шевеля губами, просила рассказать, что пишут в газетах» (209).

Каховскую похоронили 3 марта. Через год друзья поставили на старом Малоярославецком кладбище скромный гранитный памятник. В 2018 году, спустя полвека, рядом появился деревянный крест, который воздвигли на могиле Марии Яковлевой, урна с прахом которой была захоронена в одной ограде с Каховской.

Ярослав Леонтьев

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Ирина Каховская
Воспоминания террористки. Ирина Каховская
В книге представлено полное собрание найденных на сегодняшний день
мемуарных очерков знаменитой революционерки прошлого века.
2020 г.

ru.anarchistlibraries.net